

Валентин Васичкин

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

СТИХИ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПРОЗА

ОРЁЛ
2018

ББК 84(2p)6
В-19

Книга издаётся в авторской редакции

Валентин Васичкин

В-19 **Последний снег.** Стихи, повесть, рассказ — Орёл, 2018. — 256 с.

Автор этой книги – член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Валентин Васичкин.

В книгу вошли новые стихи, повесть «И долгой будет жизнь», рассказ «Ирунечка», а издана она в год 70-летия автора.

Откройте её – и вы увидите душевный свет автора; его поэзия рождает в читателе особую доброту, в ней – ничего надуманного, вымученного.

Проза Валентина Васичкина проникнута психологической правдой; душевные ощущения героев повести, их впечатления от внешнего мира, реальные мысли о скоротечности жизни, о любви, и не только к человеку, помогают читателю верить в её торжество.

ББК 84(2p)6



* * *

*Мы и слéпы, и глúхи;
и всё же наступит прозрение:
Мир земли и небес
вдруг предстанет во всей красоте!
И по жизни мы шли,
как слепцы, потерявшие зрение,
А теперь, прозревая,
стоим на дорожном кресте.*

*Время предков-трудяг —
оно скрылось от нас за веками,
Нам за ними — вослед,
нам проторены ими пути.
Перекрёстье дорог,
и на каждой, как истина, — камень,
Стопудовый,
и мне по дороге своей
его должно нести.*

*Вот оно, счастье моё
васильковое*

Стихи



НЕ СИРОТСТВУЙ, ДУША

Среди дня за дворами
 пробился ручей из-под снега,
И грачиная стая,
 кружась, опустилась на луг.
Я своё, родовое,
 по нём ещё в детстве отбегал
Со слепыми дождями,
 позднее уже – как пастух.

Эти светлые дали,
 что тянутся прямо от дома,
И ракиты по поймам –
 всё в сердце моём на века,
С тихой грустью полей
 и со скирдами свежей соломы,
А над всем этим счастьем –
 зовущие в высь облака.

Мне за ними ходить
 по отавам родимого края,
После вьюг-завирух
 умываться водой снеговой.
И родная земля, –
 словно мама, такая родная,
Все просёлки и тропки
 застелет травой-муравой.

Не сиротствуй, душа,
отягчённая вечной заботой!
Видишь: к жизни хорошей
находит дорогу ручей,
И от луга плывёт
величальная песня прилёта –
Не сиротствуй, душа,
поздравляя уставших грачей.



ГУСИНЫЙ ПЕРЕЛЁТ

Скоро, скоро схлынет холодина
И внизу, на речке, треснет лёд,
А потом уже – за льдиной льдина –
По воде высокой уплывёт –
Всё туда, в туманное низовье;
А истают грязные снега –
Стаи птиц потянутся к гнездовьям,
Их зовут родные берега.
Вот они, плывут в вечерней сини,
В те края, куда отходит лёд, –
Над землёй,
 над домом,
 над Россией,
Надо мной гусиный перелёт.
Их увидеть ближе захочу я,
Птиц моих, не знающих преград;
Душу беспокойную врачую,
К огороду выйду, на закат.
Вот они, проходят надо мною,
Прокричали в радость и ушли,
Словно моё кровное, родное
Над землёй весенней пронесли, –
Тёплый день,
 закат со светлым ликом,
Тишь полей и ровный шум реки.
И вослед им с радостью великой
Прокричат за домом гусаки.

* * *

Холодно. Сыро. Светает –
День начинает разбег.
Снег по низинам истает,
Это последний снег.

Стихнет в полях шумиха,
Высветлит зеленыя.
Будет тепло и тихо
В свете погожего дня.

Будет пространство сквозное,
Зазеленеют луга...
Жизнь моя, каждой весной
Как же ты мне дорога!



* * *

И прихлынули волны тепла!
Солнце разом прибавило света.
У летка копошится пчела, –
Очевидно, привиделось лето.

Ну а мы ожидаем грачей;
И, весне запоздалой в угоду,
С белой крыши ручей-казначей
Собирает по капельке воду.

Снег уже потемнел и набух,
А сосульки горят, как рубины.
И скворцам комнатушку, на двух,
Завтра дети сдадут на рябине.



ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

Три дня несносного разлива,
Ручьёв немислимый разбег.
И вот водою нешумливой
Плывёт с полей последний снег.

Подумаешь: вода устала
Месить пустой просёлок в грязь;
А снегу как бы не пристало
Терять с родным раздольем связь.

Лежит, темнея, на озимых,
Дождём весенним не промыт.
Ему сродни лихие зимы
И деревенский, кроткий, быт.

Лежит, томительно вздыхая, –
Он чувствует тепло земли,
И не нужна ему другая,
От родины своей вдали.

Не уплывёт, а раствориться –
Как матери подаст напиток,
Давая в новый день разбег,
Последний снег...

Последний снег...

* * *

А за домами ветры стали тише,
Сошла с полей трезвонная вода.
И вот уже паук седой под крышей
К сезону заготовил невода.

С утра стоит теплынь.
 На солнцепёке –
В большом довольстве! –
 стаяка серых кур.
Петух – рядком:
 разбойник краснобокий
Сам для себя устроил перекур.

Как будто ждёт сигнал из поднебесья,
Накапливая силушки свои;
Но мы ещё услышим его песни
И поглядим кровавые бои.

В домах пока не выставлены рамы,
И мир земной от песен не оглох.
В Год Петуха за скотными дворами
Ещё устроит он переполох.



* * *

Были сказки, были были,
Может, что-то и приврут,
Но...

Однажды полюбили –
Он, она – за пять минут.

Счастье девичье – хмельное,
Мёд с лугов – да крупкою.
Всё, чем жили той весною, –
Хрупкое-прехрупкое.

Было сладко, было мило,
Счастье пили кружками.
Но...

Она его делила
Лето всё с подружками.

Хороша была собою,
Модная-премодная.
Разливало их водою,
Да водой холоднойю.

Кто – налево, кто – направо,
Разошлись – куда кому.
В жизни острая приправа
Людям вовсе ни к чему.

БУДЕТ

Солнечно будет с утра за оградой,
Первая зелень травы.
Мне ли, тебе ли печалиться надо
В свете житейской молвы.

День устоится такой же погожий,
С поля прихлынет тепло.
Солнечно, тихо в природе, и всё же
В стороны нас развело.

День-то хороший: и светел, и сладок,
Будет погожий закат.
Только на сердце полынный осадок,
Будет в печали твой взгляд.

В мире земном всё безудержно кратко,
Выгорит зелень травы.
Мне ли, тебе ли...
Обоим несладко
В свете житейской молвы.



* * *

Утро – в тумане; свежо от росы.
Тяжко земное бремя.
Тают в туманах минуты, часы –
Наше с тобою время.

Свет закачался над полем овса –
Благостно время налива!
Мне ли удачи легла полоса,
Ты ль без меня не счастлива?

Голос кукушки предвестьем в судьбе,
Полон приветливой грусти.
Что-то предвидится мне и тебе
В нашем с тобой захолустье?

Время – скупее, но солнца – в накат,
День пролетит по-сорочьи
И переплавится в красный закат,
В звёздное многоточье.

Падают звёзды в густые овсы,
Тени в ночи, как живые.
Тают в туманах минуты, часы –
Наши с тобой, роковые.

* * *

Свежо и росисто; и речка за домом в тумане,
В белёсом тумане –
Земное, своё! – по родному однажды поманит,
От дома поманит

В безбрежье холмистое, полем и лугом – всё прямо,
Всё прямо и прямо,
Родным бездорожьем, извечной дорогой Адама,
От предков Адама.

Во зле или в горе сгорало Адамово племя,
Живучее племя;
Пронзало стрелою, с отравой, летящее время,
Грядущее время.

Идём, спотыкаясь; оплечь смертоносные луки,
И стрелы, и луки;
В слезах и победах, и кровью испачканы руки,
Рабочие руки;

Над бездною бед, и, своей отягчённые ношей,
Безмерною ношей,
С надеждой извечной добраться до жизни хорошей,
До жизни хорошей.

Совсем на безлюдье белёсая схлынет завеса,
Тумана завеса.
В безвременье злое хранимы пятой Ахиллеса,
Пятой Ахиллеса,

В добре и печали отмоем кровавые руки,
Рабочие руки,
Но также оплечь смертоносные стрелы и луки,
И стрелы, и луки.



ПРОМЕТЕЙ

Склонились ракиты к воде,
Угасла волна звуковая.
И кажется: в мире везде
Такая же тишь вековая.

Речная блестящая гладь
Смыкает безжалостно веки.
И долго придётся гадать,
В каком оказались мы веке.

Но выйдешь к вершине холма:
Там время другого замеса;
Там воля и сила ума
Несут нас к высотам прогресса.

Дал людям огонь Прометей,
В огне мы наплавляли стали;
Беззлобно уйдя от лаптей,
Мы первыми в космос слетали.

Пылят через поле авто,
За полем стучат электрички.
И Богу спасибо за то,
Что в доме имеются спички.

А в мире всё больше огня,
Тревожнее наши рассветы.
Я чувствую: точно в меня
С подлодки наводят ракеты.

А где-то в огне небосвод,
Пожар мировой не потушен.
Он умер тогда за народ,
Богам непослушен.

Он смог за народ умереть,
Сторонник прогресса.
Огонь – это жизнь или смерть,
Два равных замеса.



* * *

Не зовут под вечер перепёлки,
Вдоль просёлка не чернеть стогам.
Доживают дни свои посёлки,
Что разбросаны по берегам.

Похваляться некому и некем,
В них народ по жизни всё простой:
Курит, пьёт и в этом жутком веке
Чувствует себя он сиротой.

Пусто в потребительской корзине;
Перейдя на западный жаргон,
Мужики с утра за магазином,
Глушат всё же местный самогон.

Вот стоит Алёнкина усадьба:
Дома нет, крапива – до небес.
Всё поминки и забыты свадьбы,
Словно их закончился замес.

Сколько будет вдовушек-старушек –
Их домам не избежать судьбы:
Мужики, зверея, всё порушат,
От порога до печной трубы.

Без работы люди, ну а кроме –
Никаких зарплат или доплат.
Растащили вот Алёнкин домик,
Думали найти под печкой клад.

Мол, жила – не тратила помногу,
Фронтовой имела пенсион.
Все полы взломали, до порога, –
Не нашли Алёнкин миллион.

Да никак не мог он сохраниться,
Эти слухи – полное враньё:
Постоянно рублики, как птицы,
Улетали к внукам от неё.

Мне для жизни много и не надо:
Кроху хлеба и стакан вина.
Умер брат, а домик был что надо –
Разбомбила местная шпана.

Я в своём краю живу не с краю,
Посреди земного бытия.
Сколько зим, я так и не узнаю,
Будет в радость комнатка моя.



СВЯТЫНИ

Полынный запах родины моей;
Цветёт ковыль, и старые ракиты.
За домом сразу –
 свет родных полей,
Но мне смотреть намного веселей
На них, весенних,
 солнышком облитых:

С полей плывёт желанное тепло,
Душа моя в теплыни этой тает.
Как в горнице, в ней тихо и светло,
И доброе начало прирастает...

Всё просто здесь,
 как тыщу лет назад:
Цветёт ковыль и запахи полыни.
А остовы коровников стоят –
Застойного периода святыни.

Как просто всё!
 Дома стоят в рядок,
И с каждым новым годом он всё реже.
Кругом враги – на запад, на восток,
Угрозы нам от южных побережий.

На севере красивая Москва,
Она кому-то – золотая жила.
Но вот мои хорошие слова
Она не все по праву заслужила.

Всё лучшее отсюда забрала,
И с родиной моею не взаимна.
Я слышу здесь её колокола,
Тоскую по словам заветным Гимна.

Как просто всё на родине моей!
Цветёт ковыль и запахи полыни;
И домики в тепле родных полей –
Застойных лет последние святыни.



НАМ СНОВА ГОРЕ ОТ УМА

1

За поймой, медленно горя,
Покинула простор заря –
На радость ли кому, на горе?
Туман поднялся от воды;
Как от предчувствия беды,
Притихли птицы на просторе.

Задумчива и не слышна,
В деревне умершей луна
Глядится в тёмные окошки.
Как призраки стоят дома.
А вот уже и ночь сама
Хозяйкой вышла на дорожки.

Здесь, даже, может, чуть греша,
Живая каждая душа
Своё когда-то отлюбила.
Здесь плавал вечный непокой –
Был праздник жизни, да какой! –
С весны в глазах людей рябило
От первозданной красоты:
В садах – цветы!

В лугах – цветы!

Дома побелят – как игрушки!..
В цветастых кофтах и платках
К колодцу – вёдерки в руках –
Сходились бабы-говорухи.

Им сладко слышать среди дня
То ржанье звонкое коня,
То шумное дыханье стада –
В работе солнце и часы;
То крик гусей, то звон косы,
И всё им знать и видеть надо.

По улице уже с утра
Гоняет лихо детвора –
Своё успела: натворила....

О сколько русских деревень,
Не знавших, что такое лень,
Зловещей тенью смерть накрыла!

Нам снова горе от ума!
Мертвы просторные дома,
В них задичало бродят кошки.
Мне душу наполняет страх:
Мечты, надежды, судьбы – в прах,
Все атрибуты жизни – в прах,
Скамейки, ложки и лукошки.

Безрадостные времена!..
Как в древности, взошла луна,
Глядится в тёмные окошки.
И душу сковывает страх:
Не где-то – на семи ветрах
Травую заросли дорожки,
И ни частушки, ни гармошки...

2

Покинула простор заря,
Притихли птицы на просторе.
И можно думать: жили зря!
Страну не держат якоря,
Вокруг – бушующее море.

В пучине гибли города
Цивилизованных империй.
Теперь и нас несёт туда;
Вскипает мутная вода
Людских суровых суеверий.

Всему земному даден срок?
Вражда берёт любую ноту.
И разъедает веру смог,
А человечеству урок,
И он – какой уже по счёту!

О как бы розовый восход
В тумане лет расправил крылья!
Здесь мирной жизни был оплот,
И снова бы ушли в полёт
С весёлых пасек эскадрильи.

Но тих и сумрачен рассвет;
И кто теперь мы для Европы?
В родном краю в разбеге лет
Травой позарастали тропы
И деревень на картах нет.

В ЗАЩИТУ РУССКОЙ РЕЧИ

Поутихли сказки и прибаски,
Чем народ извечно был богат.
И теперь от юга до Аляски
Рвёт страну на части крепкий мат.

А скажите: в кои было веки –
Это будет предкам в похвалу, –
Чтоб от мата тяжелели веки?
И при детях? И в святом углу?

Нет, конечно, не было такого!
А сегодня как нас понимать? –
То отца помянем бранным словом,
То, по пьяни, примемся за мать.

Доберёмся в ярости до Бога –
Кто к чему от прошлого влеком.
Как же, люди, выглядим убого
Со своим порочным языком.

Вот идут, как два родные брата,
Пареньки, и что о них сказать,
Если даже в радости без мата
Им двух слов хороших не связать.

Есть же и союзы, и предлоги,
От людей всё лучшее бери,
Призывай почаще на подмогу
Языка родного словаря.

В нём, родном, всё ладно и богато,
Слушать в радость мне родную речь.
Уберечь бы нам её от мата,
От разрухи полной уберечь.



САПОГИ

Старый дед,
старый дом,
старый сад;
На верёвке портянки висят.
У дверей,
по-солдатски строги,
На дежурстве стоят сапоги, –
Доносить ему внук передал, –
Так и просятся на пьедестал!

Сам хозяин сидит у стола,
Голова и светла, и бела,
А дела – не сказать, что плохи:
Пусть давно отошёл от сохи,
Но: еда – на столе, и тепло;
В окна свет, –
значит, в доме светло.

В новом веке ребёнку войны
Даже летние ночи длинны;
А подступится к дому зима –
Впору можно свихнуться с ума:
Невесёлые мысли вразброс,
И к родне за вопросом вопрос.

И глядит вся родня со стены –
От сопливых внучат до жены, –
Как живёт... доживает свой век
На задворках страны человек;
Как его охраняет порог
Пара старых солдатских сапог.



ВНУКУ

Обелиск застыл на высотке –
Символ мужества и побед.
Ходит младший внучок в пилотке,
В краснозвёздной, военных лет.

Держит Фёдка курносый крепко
Свой игрушечный автомат.
Посмотреть: а трёхлетний Фёдка –
Настоящий – почти! – солдат.

Ему долго шагать по жизни,
Ещё мало ему годов,
Но свой дом и свою отчизну
Защитить он уже готов.

День придёт, и однажды внуку
Приоткрою завесу лет,
Как суровую эту науку
Познавал на войне мой дед.

В своей жизни познал одно я:
Никому, внучок, не грозя,
Будь готов защитить родное –
По-другому никак нельзя.

* * *

Лужок попахивает пряно,
Ещё досматривает сны.
Дорога к горизонту – прямо,
Где дали синие ясны.

А за лужком, по заовражью,
Дымами стелется туман.
И кажется, что войско вражье
Опять пришло из дальних стран
И снова через заовражье
Охватывает курган.

Налево и направо – дали,
Загадочна над полем высь.
Здесь предки жизни отдавали,
За землю русскую дрались.

С мечом в руках врагов встречали –
Иных времён, земель иных.
И невесёлый свет печали
Как вещей знак в полях родных.



* * *

Зелёный день завис в тепле,
Летит земная пыль.
Быть может, завтра на земле
Мы превратимся в быль.

Плывут над нами облака
И чёрные дымы.
Вдали спрессованы века,
Куда стремимся мы.

Ушёл рассвет – закат зардел,
На землю льётся ртуть.
И тих небесный беспредел,
И светел Млечный путь.

Закату скоро отгореть,
А позади – века,
И всё дымит земная твердь,
Дымы – за облака.

Суровая земная быль!
Зелёный день в тепле.
Летит космическая пыль,
И мы, земляне, завтра – в быль,
В дымы, в космическую пыль?..
Тревожно на земле.

* * *

За прогонами белеет кашка,
Над прогонами пчелиный гуд.
Отчего, земля, вздыхаешь тяжело,
Обозначив новый свой маршрут?

Нам живётся, в общем-то, неплохо,
Дни теперь достаточно длинны.
И не на похлёбочке, с горохом,
У народа держатся штаны.

Предки наши были однолюбы,
Не жадны до золота-серебра.
И меня целует солнце в губы;
Где поднялся клевер красночубый,
Моего не очень-то добра.

А для жизни путь земной отмерен:
То стихи слагать, а то пахать.
Хорошо, когда ты крепок в вере, —
Человеку весело шагать.

От родного мы идём порога
Мимо этой вечной красоты.
Мне, земля, идти одной дорогой,
До последней, до своей черты.

Вдоль неё окопы да воронки –
Это их оставила война.
И храним потомкам похоронки
И родни ушедшей ордена.

По рассказам, здесь, над ближним полем
Сбили наш, советский, самолёт.
Сердце и заходится от боли:
Вдруг да снова тишину рванёт!

Вдруг кому-то рана, да сквозная!..
На твоих просторах мира нет,
И тебе вздыхается, родная,
В свете дней от тяжести ракет.



* * *

Над землёй угас последний луч,
 День ушёл –
 томительный и жаркий.
 Вечер будет долог и пахуч,
 Если звёзды первые неярки.

В луговине скрипнет коростель,
 Выйдя в сумрак синий, к огороду.
 Кто-то вскрикнет,
 кто-то просвистел,
 Предвещающая тёплую погоду.

Пробормочет в зарослях ручей –
 По-земному, радостно и просто.
 Купол неба с тысячьёю свечей
 До утра повиснет над погостом.

Мне он дорог звёздочкой одной!
 Свет её по сумеркам прольётся –
 И душа ей тут же отзовется,
 Как вздохнёт от тяжести земной.



* * *

И какие же мы чудаки:
От ручьёв, от полей, от реки
Всё бежим и бежим без оглядки
Из родных, удивительных мест,
Где поклонный покоится крест,
Где играли в войну, или в прятки.

Ёкнет сердце больное в груди:
Мой хороший, земляк, погоди!..
А земляк, молодой и тверёзый,
Жизни смысл познававший с азов,
Он оглянется всё же на зов,
А в глазах его – слёзы,

(Не от них ли дорожная грязь?)
Словно рвёт непорочную связь,
По живому, как пуповину..
И какие же мы чудаки:
От ручьёв, от полей, от реки, –
Где ломаем судьбу... или спину.

Где от родины малой вдали
Добываем для жизни рубли –
Не судьба, а злодейка!..
Чудаков, нас легко понимать,
Если кроем её в Богомать,
А душа, – как жалейка,
Больше плачет...

* * *

Яркими красками лето играет;
Время земное над нами сгорает.
Зори, как реки, за поймой сливаются,
Радостью в сердце моём отзываются.
В пойме туманы клубятся куда-то;
Глянeshь: заря поплыла от заката,
Краем земли отлетает жар-птица,
Свет её тёплый на землю ложится –
Словно картина художника местного
Царству земному от царства небесного.

Сердце наполнит родное, заветное –
Вот оно, счастье моё предрассветное!
Глянeshь: заря от заката – к восходу,
В заводях сонных окрасила воду.
Краем земли проплывает жар-птица,
Свет её тёплый на землю ложится;
Слышно в безбрежье, как рожь наливается...
Радостью сердце моё отзывается.
Сердце наполнит родное, заветное –
Вот оно, счастье моё семицветное!..



* * *

А за лесами да за реками,
Среди зелёной тишины,
Петух всё громче кукарекает
На все четыре стороны.

О Пресвятая Богородица,
Видать, не зря петух поёт:
Уже с утра занепогодится –
Над нами тучи –
 с громом! – сходятся,
И дождь из них всё льёт и льёт.

Хвала и Небу, и Спасителю –
Вода с полей смывает зной;
Небесной заключён обителю
Союз с обителю земной.

А за лесами да за реками,
Среди зелёной тишины,
Во славу жизни кукарекают
На все четыре стороны.



* * *

Солнце встаёт над речкой –
Плугу быть в борозде.
С берега, словно с печки,
Гуси спешат к воде.

Имея пирог на блюде,
Довольны не все собой
Видающие в Иуде
Проклятого судьбой.

Всем нелегко живётся
В мире добра и зла.
Совість не всем,
 как солнце,
Душу огнём прожгла.

Время да будет вечно!
Во времени мы горим,
Во времени мы беспечны..
Но гуси спасали Рим.



МАКУШКА ЛЕТА

Лето идёт по прогонам,
Радуги в небе вразлёт.
Пчёлы с утра – со звоном! –
Носят пудами мёд.

Мало добудут с луга –
Не будет большой беды.
Пряной цветочной вьюгой
Их замечает следы.

Здравствуй, макушка лета!
Дождик слепой, пролей!..
Солнце добавит света –
И станет нам веселей.

Пчёлки мои, подружки,
Благословен ваш труд!..
Мне на её макушке
Слушать их мирный гуд.

Скоро он станет тише:
Бережно, словно мать,
Словно своих детишек,
Ночь их уложит спать.

* * *

Жить на свете не устаю,
И судьба для меня – не злодейка.
За родное всегда постою,
Где лежал поперёк скамейки.

Есть отчизна, и есть устав,
Всё родное доступно взгляду.
Днём погожим, в работе устав,
На ту самую и присяду.

Посижу, посмотрю в окоём,
Чтобы в мыслях своих оглядеться.
Всё житейское – в сердце моём,
И от них никуда мне не деться.

Вот за речкой, среди лозняка,
На берёзе сорока стрекочет.
Высоко-высоко – облака,
Как пушинки, и белые очень.

То ли в радости, то ли в беде,
О земном ли мечтается чуде, –
Уплывают по синей воде,
Как гусиное стадо в запруде

Долго буду смотреть им вослед,
Ветер машет им веткой осиновой.
Уплывут, унесут белый свет,
И оставят для жизни малиновый.

* * *

Над полями летний день высок;
На его просёлочной дороге,
Где – прямая, где – наискосок,
Предки наши износили ноги.

До Кремля ходили ходоки;
Нам сегодня даже не приснится:
По просёлкам пыльным, напрямки
В Киевских соборах помолиться.

Новый век по-своему хорош,
Мы к нему и строги, и не строги.
Где его деревня, не поймёшь –
Ни тропинки к ней и ни дороги.

Ты, душа колхозная, поплачь:
На сто вёрст ни лошадиной морды.
Есть хомут, но некого запрячь,
Разве что «тойоту» или «форда».

Вот и начинаем городить,
Рвём на голове своей кудели.
Некому и не к кому сходить
Даже на родительской неделе.

Но, законам жизни вопреки,
Нам всего важнее суть вопроса:
В Киев мы теперь не ходоки,
А в столицу нас несут колёса.

* * *

Ни лошади, ни бороны,
В делах житейских скромная,
На все четыре стороны –
Страна моя огромная.

А в ней заветный уголок,
Деревней называется.
И тут – дымок, и там – дымок,
В кудряшки завиваются.

Их строй заметно поредел,
Сады под гнётом старости;
И людям стало меньше дел
Совсем не от усталости.

Волшебной палочкой как раз
Страна была расколота –
Гордись, народ: теперь у нас
Нет ни серпа, ни молота;

Ни лошади, ни бороны
На все четыре стороны –
Осколками большой страны
Давно в чермете бороны.

Есть балалайка в три струны –
Давай, мужик, наяривай!
Последнее, что у страны, –
Всё продавай-раздаривай.

И рад безбожно дядя Сэм,
Ему всё это нравится:
И сколько пью, и сколько ем,
И сколько – в пику тайных схем –
Нас в мир иной отправится.

Как по велению судьбы
Вершим дела коронные:
Несут гробы, везут гробы
Команды похоронные.

Плывут над родиной кресты...
О время аномальное!
Обряды вечные просты:
Слова и рюмки поминальные.

Мы перед смертью все равны,
Для всех дорога свёрстана,
Она – одна для всей страны,
Помеченная вёрстами.

Не знаю, на какой версте
Схлестнёмся с лиходеями,
Но в святости и простоте
О лучших днях радеем мы.



* * *

Не умереть нам от тоски,
Тем боле – от тщеславия.
Земля, твои мы колоски,
Твои, страна Муравия.

Благословен рассветный час!
Питай земными соками,
Храни для нас, как мы для вас,
Всё самое высокое:

Небес святую чистоту
И радость пенья птичьего –
На ветке или на лету,
И радость, когда всё в цвету, –
Как высший знак отличия.

Пока стоит земная твердь
И радость – в самой малости,
Нам от тоски не умереть,
А если... то от радости.



* * *

Плуг на роздыхе в борозде,
Над полями ночная роздымь.
В тёплой-тёплой речной воде
До рассвета купаться звёздам.
Снова месяцу плыть и плыть,
Только к берегу не причалить..
Видно, может такое быть:
Полюбить и не разлюбить,
Всё, что дорого, отлюбить –
Свои радости и печали.
Встанет солнце из-за леска –
Бестревожно моё сердечко:
Снова белые облака
От моста поплывут, по речке,
От деревни полупустой,
От меня – я успею проститься.
Будет день золотой-золотой
На земное моё струиться.
Будет радостно и легко –
Время радости не простое.
Облака далеко-далеко,
Над холмами, как на постое.
Плуг на роздыхе в борозде,
Ночь неслышно легла к порогу.
Завтра утречком по воде
Провожу их опять в дорогу.

* * *

В речке ямы да коряги.
А под низеньким мостом
Что за рыбина в отваге
По воде хлобысть хвостом?

Кто ещё там мутит воду?
Ясно, что не водяной:
Водяная их порода
Мост обходит стороной.

Мы на нашем мелководье
Речь ведём не просто так:
На мосту, в родных угодьях,
Да приспал один рыбак.

Ну и – плюх! – свалился в воду –
Вот тебе и водяной.
Не было такого сроду
В стороне моей родной.

А рыбак из той породы
Мост обходит стороной.



ИЗ ДЕТСТВА

Красное лето, зелёный покос.
День из тумана, как из пелёнок.
Дождик шумнул –
 я немного подрост,
Словно опёнок.

Дождик-художник развёл акварель,
Он для меня – не сырость.
Кто-то в сирени настроил свирель –
Слушаю, в кепке на вырост.

Красное лето, зелёный покос.
Плавно плывёт воз пахучего сена.
Я – на возу!
 Я подрост! Я подрост!
Шишка на лбу и ободранный нос,
И опухает колено.

Слышен над липами пчёл хоровод –
Праздник в деревне медовый:
Липовый мёд, с разнотравья мёд,
Взяток – пудовый.

Молния в небе, и гром – как вопрос,
Гнев ли с небес или милость:
– Красное лето, зелёный покос?..
Ты в этих далях родился и рос?..

Сердце моё забилося:
– Красное лето, зелёный покос!
Я в этих далях родился и рос!.. –
Вспомнилось и приснилось.



* * *

Едим пшеничный и ржаной,
Про чёрный день – сухарики.
Прошёл – да с громом! – стороной,
А на посев – ни капельки.

– Попить, – доносится, как стон;
– Дождя! – кричат колосья;
– Воды! Воды! – со всех сторон,
В полях многоголосье.

Не брал без хлеба тормозок,
Не мыслил жизнь без хлеба.
– Пролей! – кричу. – Пройдись разок!
А сам смотрю на небо.

Всевышнему гори, свеча!
Подумал: не от жалости,
Над знойным полем грохоча
И хвост лиловый волоча,
Разверзлись тучи в ярости –
С водой живительной сосуд;
Был вид их на безлюдье страшен.
В испуге думал, что снесут
Все злаки с плодородных пашен.

Всевышнему гори, свеча!..
Воды потоки с неба лились,
Но тучи, так же грохоча
И хвост лиловый волоча,
В луга заречные свалились.

И вызрело потом зерно,
Была мука его помола.
И вспомнить вовсе не грешно:
На празднике у новосёла
С друзьями пили мы вино;
Заметил кто-то без прикола:
Мол, хлеб, что ели, из муки
Его недавнего помола.



* * *

Живёт земли отцовской слава,
С побудкой птичьей по утрам.
Давно не ходим по отавам
И по цветущим клеверам.

Не строим на ручьях плотины –
Там жизни нету никакой.
И прежних – лучших! – дней картины
Лишь только в памяти людской.

А родины моей полотна –
С печалью радость, пополам.
Вот ветер, словно безработный,
Разгуливает по полям.

Так мы носились по округе
С извечной радостью своей.
Всегда нам солнце было другом
В кругу ребяческих затей.

И пусть сегодня солнцу рады,
Теплу открыты ворота –
Впервые нет в деревне стада
И луг стоит как сирота.

Анютины синеют глазки,
И я как гость на том лугу.
Но вот деревню без подпаска
Совсем представить не могу.

* * *

Вот и затихло совсем в предвечерии
 царство моё васильковое.
Скоро над поймою месяц серебряный
 снова повиснет подковою.
Там, в мироздании томном,
 закрашенном синькой
 густого небесного цвета,
Скоро проклюнутся крупные звёзды –
 весёлым землянам
 какая-то будет примета.

Тишь беспредельная!
Слышно – рукою подать:
 на пропахшем медами просёлке
Сладкую дрёму проносят
 в ржаные поля перепёлки;
Слышно: по низу как росы
 на спелые травы упали...
Вот оно, счастье!
Как долго по жизни суровой его мы искали!
Блудные дети,
 куда нас от дома родного
 щепой в половодье уносит?..
Вот оно, счастье!..
Сосед мой, не в меру колючий
 и злой на работу, уже сенокосит.
Он по-родному вбивает в мозги мои
 злое такое же, острое слово:

Что, мол, Россия извечно –
 не дойная вовсе корова;
Что, мол, горластым,
 не знавшим свинцовой купели,
Нам бы сегодня
 поменьше валяться в постели,
Сиднем бы дни не просиживать
 в доме отцовском впустую...
Это от предков сосед мой
 усвоил науку простую;
Так и живёт он по ней –
 и к стране, и к соседям сурово.
 Месяц над ним, как на счастье,
 серебряной виснет подковой.

Что мне сказать в одночасье
 соседу-трудяге,
Если по крови, от предков,
 мы будем совсем не бродяги.
Время кому-то желанное, но и несносное,
 мне и друзьям моим – тоже.
Вот насмехаются, ржут словно лошади,
С телеэкранов, на нас не похожи;
Сутками – страшно подумать! –
 в экстазе, заходятся в пляске;
Доят страну,
 убивают родную,
 растлили
от южных морей до Аляски...

Вот и затихло совсем в предвечерии
 царство моё васильковое.
Месяц над поймой на счастье
 серебряной виснет подковою –
Мне ли, соседу,
 любимой ли женщине, другу?..
Вся наша жизнь – на земле или где-то –
 в движении вечном, по кругу;
Все наши дни и часы, до секунды,
 спрессованы в вечности – плотно,
Пусть даже ты,
 словно ветер над полем,
 устал и прилёг на тропе безработной.



* * *

Дорога недолгая наша –
Из детства она до седин.
Не живший без хлеба и каши
Теперь своё поле не пашет –
Он сам себе господин.

Имея такое же право,
Угрозу я вижу извне.
За родину и за державу,
За предков великих славу
Обидно сегодня мне.

Страна не туда завернула!..
И, слыша железный хруст,
Во дни рокового загула
Забросил былинный Микула
Соху за ракитовый куст.

Всё – быль, а похоже на сказку:
В чермете мелькнула соха;
Под нож проводили Савраску,
Любившего сено и ласку,
И вроде бы всё – без греха.

Не пашется поле, а надо,
Паши, землепашец, паши!
И будет тебе как награда –
Томительная услада
Крестьянской твоей души.

Я тоже из этой колоды,
И вовсе не туз козырной,
Но смог пересилить невзгоды,
И все свои лучшие годы
Я шёл со своею страной.

Дорога недолгая наша –
Из детства она до седин.
Не живший без хлеба и каши,
Чего же ты землю не пашешь,
Из новой страны господин?



БЕЗ ЦАРЯ

Поле. Небо. Дома на взгорке –
Там, с обидою на народ,
Зарастает полынью горькой
Моей тётушки огород.

Глянeshь: домики не убоги,
И совсем не глухие места.
По просёлку до царской дороги
И всего-то одна верста.

По преданию, наши предки
К ней бежали смотреть царей.
А у тётушкиной соседки
В огороде царит Пырей.

У соседа соседки – то же:
Там бесчинствует царь Осот....
Всяких дел на земле приумножив,
Мы достигли земных высот.

Из землянки да из каморки –
До космической высоты.
А дома на родном пригорке
И зимою, и летом пусты.

Эти залежи да излуки –
Всё владенья царей и цариц.
А умчались дети и внуки
На задворки родных столиц.

Там, тоскуя, поют и пляшут,
А, возможно, и без тоски.
Но не едут к ним и не пашут,
Как бы ни были им близки.

Не сказать, что на жизнь калеки,
Ещё хлебушек свой жуют.
Но, разбойники, в новом веке
Без царя в голове живут.

И не предки за всё в ответе,
Здесь прожили они не зря.
Плохо жить нам теперь на свете
И с царями, и без царя.



СОЛОВЕЙ

Майской ночью, ещё до света,
В палисаде, среди ветвей,
Всю весну, до самого лета,
Птичий классик поёт сонеты,
Про любовь поёт соловей.

Как заходится он от счастья!
Сердце трепетное в огне –
Вдруг оно да рванёт на части,
Ослабевшее в нём отчасти,
И огнём полыхнёт во мне?

Не стихают в ночи рулады!
Его песней оглушена,
Но всегда их послушать рада, –
На цветущих деревьях сада
Не удержится тишина.

А наполнятся дали светом –
Его песни опять слышны.
От рассвета и до рассвета
Море песен прольёт до лета,
В море тёплое тишины.



ЖЕЛАНИЕ

Как хрупок мир!
 Мы в суете сует,
И грань тонка, дарованная свыше.
Вот солнце снова высветило крыши,
И на поля пролился его свет.

Весенний день, сосульками звеня,
Через поля – за тёплыми лучами.
Туда, где в муках тёмными ночами
Томятся под снегами зелена.

А солнце – вверх!
Весь мир земной под ним:
Ручьи, цветы –
 Их умывают росы.
Берёзы к солнцу распускают косы,
И облачко за ним, – как пилигрим.

Подсолнух в огороде сам не свой,
Такое с ним бывает по погоде:
Под солнцем,
 словно солнце в огороде,
Кивает солнцу рыжей головой.

Но сердцу всё тревожнее в груди:
За солнцем мы торопимся к закату
И каждый раз озвучиваем дату,
Которых меньше будет впереди.

Вот новый день, капелями звеня,
Уже свои высвечивает грани.
Я снова в сердце ранен
 в ранней рани,
И свет его вливается в меня.

А солнцу снова думки мои греть,
И пусть моё желанье мне простится:
Не умереть, а просто замереть
И тыщу лет на этот мир дивиться.



* * *

В последний раз, вещая мне свободу,
Пропел петух своё «Ку-ка-ре-ку!»
И вот уже за вечерели воды
И день готов свалиться за реку.

Истает свет на грани дня и ночи,
Краснея, переплавится в закат.
И над землёю он – куда захочет,
Красив не по земному, и крылат.

В лучах его стоял на огороде;
Со стороны заката был я – медь,
Как будто я, мечтавший о свободе,
Давно уже был должен умереть.



НОЧЬ ПРИШЛА

Ночь пришла –
 над росным садом белая;
До рассвета, тишиной звеня,
Звёзды, словно груши переспелые,
Тёплый август сыпал на меня.

Новый день над родиной засветится;
Дальше или ближе от войны,
Добрыми делами он отметится,
За собой не чувствуя вины.

Весело отпашется-откосится;
Долго-долго мог бы здесь гореть,
Но закат за лесом уже просится
Душу просветлённую погреть.

Мы хорошим жили не напрасно;
И, в душе заветное храня,
Я закат поглажу ярко-красный,
Словно в детстве рыжего коня.

И его на свете нет красивее!
Слёзы счастья удержать невмочь,
Так легко душа моя плаксивая
На пустом прогоне встретит ночь.

Ночь над нами! Снова она белая!..
До рассвета, тишиной звеня,
Звёзды, словно груши переспелые,
Август будет сыпать на меня.

РОДНИЧОК

Родничок всего лишь кроха
В уголке родной земли.
Хорошо нам или плохо –
Все к нему с поклоном шли.

– Мне налей-ка!..
– Мне налей-ка! –
Каждый, кланяясь, просил
И ведро или бадейку
Непреренно уносил.

А вода-а-а!
Такой водицей
Славно жажду утолить.
Нет посудыны напиться –
Из пригоршни можно пить.

Знали все к нему дорожку,
Шли, спеша и не спеша;
Пили больше понемножку:
Наберут воды в ладошку –
И светлым-светла душа.

Пьют зимой – в душе отрада,
Летом, знамо, холодна.
Покряхтит мужик:
– Что надо!..
И посудинку – до дна.

Никому не будет плохо,
Потому к нему и шли.
Родничок – всего лишь кроха
В уголке родной земли.

* * *

Тучи чёрные раздвигая,
Грянул гром за бугром «Ура!».
Но не вижу окрест врага я –
Всё цветущие клевера,
В белой пене стоит гречиха
Да в наливе притих овёс.
Громыкнуло – и снова тихо;
Не хлебаем военное лихо
И не видим сиротских слёз.

Устоялось по всей округе
Царство света и тишины,
Лишь ромашки стоят в испуге
Над окопами той войны.



* * *

Много ли счастья, мало –
Над перепутьем дорог
Лампочку в полнакала
Красный закат зажжёт.

Счастье – оно какое:
Жить бы с людьми в ладу;
Не находя покоя,
Верить в свою звезду.

Счастью бы да продлиться,
Но, как бы я ни хотел,
День серебристой птицей
Во поле отлетел.

Много ли счастья, мало –
Будет закат гореть;
Даже и в полнакала
Будет он сердце греть.



ПЛАЧЕТ КУКУШКА

Плачет кукушка в зелёных ракитах,
Плачь, одинокая, плачь.
В синих прогонах, туманом повитых,
Горе своё обозначь.

Плачет кукушка – она не певучая,
Песнями сердце не греть.
Плачет кукушка, и слёзы горячие
Некому ей утеретьь.

Все мы на грешной земле не безгрешные!
Просится сердце к добру.
Хочешь, я слёзы твои неутешные
Белым платочком утру?

Всё, что ты мне о любви говорила,
Плачем уплыло в поля...
Белым платочком, что мне подарила
В праздничный день февраля?



* * *

Перелески и светлые рощи,
Задичалый лозняк на лугу.
Может, выбрать бы жизнь мне попроще,
А не смог, да и впредь – не смогу.

Никаких мне хоромов не надо,
Есть сухарик и кружка воды;
И душа просветлённая рада,
Если я далеко от беды.

За окошком родного придела
Кто ещё мою душу поймёт?
А вот ласточка к нам прилетела
И, счастливая, гнёздышко вьёт.

Ничего она лучше не ищет,
Нам на родине весело с ней.
Щебетунья построит жилище,
По теплу наплодит сыновей.

По каким, я не знаю, приметам,
Но задолго ещё до зимы,
В день погожий погожего лета
В тихой грусти расстанемся мы.

От зимы улетит, от мороза,
Но уверен я: не от меня.
Вытру кепкой солёные слёзы:
Как не плакать, скажите, – родня.

И хотелось бы стать мне провидцем:
Даже в мыслях я ей помогу,
И сухарик, а с ним и водицы
Я к прилёту её сберегу.



* * *

В необъятные дали
 уводит зелёный просёлок,
По буграм всё цветы,
 и в лугах зацветает трава.
Это я, как волшебник,
 седой и, по жизни, весёлый,
Проходя на заре,
 их рассыпал из рукава.

Славься, жизнь, на века!
 Отзывайся на доброе дело!..
Отшумели дожди
 и распахнута синь-синева.
По буграм и опушкам
 вчера земляника поспела –
Я рассыпал её,
 из другого уже рукава.

Славься, жизнь молодая,
 с людьми и цветами живыми!..
Вот птенцы за дорогой
 впервые легли на крыло;
Вот мои земляки –
 в огороде с делами простыми,
На российском распутье
 им в жизни не очень везло.

Их печали земные
 в осенних делах отвергая,
Отступает ненастье
 и светится день Покрова.
Это я, как волшебник,
 по жизни суровой шагаю,
На просёлках моих
 не пустеют мои рукава.



ТРИПТИХ

1

Синь предосеннего поля,
И золотится стерня.
Нам ли без хлеба и соли
Жить в свете нового дня!

Вот он, в тепле и уюте
Выплыл над ширью полей,
Радуюсь каждой минуте,
Каждой секунде своей.

2

В землю запросится семя.
Радость погожего дня,
Капля за каплею, время
Переливает в меня.

Сердцем родное приемлю,
Веру во мне не убить.
Предков священную землю
Я не смогу разлюбить.

3

Сладкая тишь над садами.
В свете погожего дня
Хищными, злыми глазами
Время глядит на меня.

В небе – как эхо прелюдий,
Там реактивного след.
Где-то разбужены люди
Грохотом дальних ракет.

В землю упрятано семя.
Боль светоносного дня,
Капля за каплею, время
Переливает в меня.



* * *

Вот и сад застарел, как и я,
Крыша дома лицом потемнела.
И гусей белобоких семья
От меня навсегда отлетела.

Будет осень надолго тепла,
Её светлые дали опрятны.
А домашние наши дела
Также будут легки и приятны.

Будем жить на земле не во зле,
Но легко нынче зло на поминки:
Чью-то жизнь на красивой земле
Держит день на одной паутинке.



* * *

И засинела за домом капуста;
Сладкая светлая тишь,
Но не слышать её сладкого хруста, –
Надо же! – и загрустишь.

Будешь смотреть и смотреть
 в огородину,
Думка светла и проста:
Это и есть моя малая родина,
С домиком у моста,
С лугом заросшим,
Со школой разрушенной,
С духом извечным жилья.
Вместе с народом,
 делами загруженным,
Шёл здесь по жизни и я.

Дальше иду.
Ну, а люди – не мистики:
Нам бы увидеть суметь,
Как в огородине синие листики
Будут синеть и синеть.



ПОКЛОН

Татьяне Грибановой

К вечеру, как светёлка,
Высветлел небосклон.
Озимы за просёлком
Низкий земной поклон.

Лугу ещё, и небу,
Речка со мной всегда.
Родине на потребу
Хлебушек и вода.

Помню, как затевала
Хлебушек мать в ночи.
Гущицу подбивала,
Ставила на печи.

Рядом с квашнёю место,
У козушка, и мне.
И поднималось тесто
В старой, как мир, квашне.

Видно, оно хотело
Покинуть обжитый рай –
Тихо в квашне пыхтело,
Силилось через край...

Этот обряд извечен:
Сколько в рядок домов –
Столько в них русских печек,
Столько с утра дымов.

Бабушки ли, молодки –
Затемно не прилечь:
Тесто – на сковородки
И на ухвате – в печь.

Русь ты моя святая
В утренний час страдной!..
И над седым витает
Запах его родной.
С ним даже в холод лютый
Много теплее в дому...

В благостный час приюта
Руки тяну к нему,
Корочкой припеченной
Душу свою погреть –
Предками освящённый
И отводивший смерть.

Родину, как светёлку,
Высветлил небосклон.
Озими за просёлком
Низкий земной поклон.

РАЗЛАД

Плачет день осенний от разлада:
Лужи, грязь и мокрая листва.
И твоё окошко за оградой
В мутном свете светится едва.

Что вверху творится – неизвестно;
Знаем только, что большая течь.
Кто-то хмурый в выси поднебесной
Отлучает нас от новых встреч.

День ли, два продлится эта морось –
Столько дней я буду одинок;
Столько мы с тобою будем порознь
Отбывать назначенный нам срок.

В дождевой купаемся купели,
Ждём команду сверху: мол, шабаш!
И тогда, уже к концу недели,
Третий день, наверно, будет наш.



ПОД СЕНЬЮ ОСЕННЕГО САДА

Природы осенний парад –
Привычная глазу картина.
Вздыхнул под окном палисад,
Развешивая паутину, –
Рязанские кружева!
Сентябрьская свежесть ядрёна.
Сирени зелёной листва
На фоне багряного клёна.

Наполнится звуками слух,
И знать бы, о чём это снова
С утра надорвался петух
Под крышей куриного крова.

Взволнованных птиц пересвист –
Узрели смышлёныши крошки.
Вот первый над банькою лист,
Кружась, полетел на дорожки.
Ещё – под окно, на порог...
О время безудержной грусти
И первых осенних тревог
В моём золотом захолустье!

В моей серединной глуши
Родное всё просится в душу.
Замру, чуть не плача, в тиши,
Ничем ничего не нарушу.

И мне ничего не иметь,
Мечтать ни о чём и не надо;
Мне только бы слушать, смотреть
Под сенью осеннего сада.

* * *

Ветрено во поле чистом,
Мысли бегут не впопад.
Ночью холодной и мгливой
С поля придёт снегопад.

Глянешь наутро: метелька!
И не сочтёшь за беду.
Слышно: синичкой затенькал
День занесённый в саду.

Пасмурно, но ненадолго –
Всё в ожиданье пока:
Вот и деревья отволгли,
И отошли облака.

Глянешь: деревню за поймой
Солнце прошило насквозь
И за простором запольным
К вечеру улеглось.

В поле – закат, и не мгливо.
Снег молодой-молодой
Встретится во поле чистом
С первой вечерней звездой.

* * *

В низине холодно и сыро,
С утра нахохлились дома.
С утра в деревне на квартиру
С упорством просится зима.

Казалось бы, прощай, телега!
А гостя, словно рассердясь,
Забрасывает мокрым снегом,
Просёлок превращает в грязь.

Но воздух по буграм ядрёный,
В садах он сладок и тягуч –
В довольстве зимняя Матрёна;
И всё загадочно, мудрёно
Под низким сводом серых туч.

Порядок этот будет вечен,
И в этой жизни не простой
Её теперь уже под вечер
Деревня примет на постой.



* * *

Вечер выстужен,
сад простужен.
Ночь холодная неспроста:
Замерцают под утро лужи
У горбатенького моста.

Солнце выплывет над полями,
Загорится огнём в груди;
В окнах дома оно как пламя –
Обожжёшься, не подходи!

Дали белы, деревья белы,
Иней проседью на траве.
В неземные плывут пределы
Мысли светлые в голове.

К речке тропка заледенелая, –
Как подскажет, что жизнь проста;
В ней, что вижу и что я делаю,
Как бы с чистого всё листа.



* * *

Гуси греются на соломе.
Три ракитины у моста.
Хорошо!
И в отцовском доме
Мне пожить бы годов до ста.

Как, допустим, мой дед Григорий:
Жил в угоду своей судьбе,
То без горя, то, глянет, горе,
Как хозяйка, в его избе.

Жил, где всё для него родное;
В хате – печь, а в печи – горшок.
И будил его за стеною
В ночи тёмные петушок.

В ночи тёмные, после святок,
Если жуткий стоял мороз,
У козы забирал козляток
И за печку, погреться, нёс.

От войны – бобылём, без бабки;
Светлой памятью той поры, –
Как наследство нам, – прялки-тяпки
И в зазубринах топоры.

Человек на земле – прохожий,
Вот мой посох, а вот мешок.
И меня будит песней той же
В ночи тёмные петушок.

Поклоняясь земному веку,
Отмеряя свои года,
Слушать вечное «кукареку!»
Не расхочется никогда.

Не мечтал походить я в греки,
Счастья лёгкого не хочу;
Где ещё я, и в кои веки,
Жизнь такую заполучу?



ВСТРЕЧАЯ ГОД ПЕТУХА

Явление триумфальное –
Как тема для стиха,
И как официальное,
Семейно-эпохальное –
Для Года Петуха.

А он спешит, не ленится,
Не скажешь, что не смел.
Он вместе с первым месяцем
В ночи ко всем поспел.

Пришёл к нам, кукарекает,
А ведь ещё вчера
Был за лесами-реками,
И вот он, кукарекает
С утра из-за двора.

Спешит полями, светится,
Судьбой своей храним.
И все двенадцать месяцев
Торопятся за ним.

И все двенадцать – разные,
Шеренгою идут
И, праздники отпраздновав,
Черёд свой поведут.

И зелено, и молодо,
И всё вокруг бело.
Мы ёжимся от холода,
А нам бы всем – тепло.

Метелькой он завесится,
А надо – сменит грим,
И все двенадцать месяцев
За ним, за ним, за ним...



* * *

За моим окном снега глубоки,
Почта занесённая – в версте.
Где вы, где вы, зимние сороки,
С новостями века на хвосте?

В жизни нашей всё совсем не просто,
Мир сгорает в пламени страстей.
Вот и жду я вас сегодня в гости
Со своей программой новостей.

Чтоб, на всю околицу вещая,
Принимали новый день как есть.
Все обиды прежние прощая,
 Попрошу на тополе присесть.

И приброшу хлебушка откусать,
Счастье своё вижу не в еде;
Мне всего-то: вас бы вот послушать
О людской не мерянной беде.

Что в деревне делается, знать бы:
Вдруг, а кто-то и замёрз в снегу,
Из-за пьянки не дожив до свадьбы;
Может, людям чем-то помогу.

Можно думать: сами, мол, с усами,
Но у них не меряно тревог.
Как-то они справятся с делами
В этом бездорожье без дорог?..

За моим окном снега глубоки,
Почта занесённая – в версте.
Где вы, где вы, зимние сороки,
С новостями века на хвосте?..

* * *

Какая чудная пора! –
Она с предновогодья.
На всю округу по утрам
Заводят петухи мелодии.

Хохлаткам с ними – без тоски,
Хозяйки улыбаются:
– Год Петуха, и петушки
В гаремах надрываются.

Крутой мороз не на посту,
Над речкой синь колышется.
А что за речкой – за версту
И видится, и слышится.

С весны зелёный мир стоуст,
И то же вторит высь ему.
А тут – зима, лес гол и пуст,
А тут всего-то снежный хруст,
Собачий лай по следу лисьему.

Ату! Ату! Поддай, Дружок,
Тревожь полей безлюдье.
И ты, игривый петушок,
Наигрывай свои прелюдии.

Вещай большие холода,
Они придут со святками.
И это вовсе не беда
В твоей любви с хохлатками.

Играй с утра и до утра,
Игрун, свои мелодии.
Всем вам – ни пуха ни пера
И после новогодья



* * *

Мороз побряхтывает молодо,
Похрустывает на ходу.
И мы с тобою в лютом холоде
Хлебаем общую беду.

Не надо нам играть со спичками:
Вчера как порох ты была,
С моими вредными привычками
Ты запросто сгореть могла.

И мне пылать бы, как поленнице, —
В глазах твоих я прочитал.
Скажу, по правде, что изменницей
Тебя и сам я не считал.

И пусть живём вдали от города,
Но у народа на виду..
Мороз побряхтывает молодо,
Похрустывает на ходу.

Его дорога будет длинною,
С ночевками в глухом лесу.
Свою головушку повинную
Я с ним наутро принесу.



* * *

По белому холоду, синему холоду
Несёт дед Мороз свою белую бороду.
По холоду белому, холоду синему
То с белой метелькой с просёлка, то с инеем.
Придёт и стоит под оконцем не всуе:
В угоду хозяйке на стёклах рисует
Деревья и травы, цветы и узоры –
И рада хозяйка: красивые шторы!

По холоду белому, синему холоду
Меня дед Мороз промораживал смолоду,
А в детстве – в сугробах, и в санках – на горке.
Штаны намокали, – глядишь, они коркой.
И что будет дальше – мне было знакомо:
Ледышкой к закату объявишься дома.
Со мной никакого у матери сладу:
– Тебе говорили! – и тряпкой по заду..
Нет чаю на свете вкуснее из травки!
И пулей на печку горячую с лавки,
Штаны над духовкой парком задымятся...
Те дни через годы мне снятся и снятся.

Проснусь среди ночи: по холоду синему
Страна моя в сполохах белого инея;
В саду застарелом по синему холоду
Пронёс дед Мороз свою белую бороду;
Пришёл и стоит под оконцем не всуе:
Как в детстве, угодник, на стёклах рисует

Деревья и травы, цветы и узоры,
Глядишь, и повесил красивые шторы
И тут же пристыл у другого оконца –
Деревья и травы рисует... и солнце.

По синему холоду, белому холоду
Унёс дед Мороз свою белую бороду,
Метелькой укрывшись...



* * *

Дымок над крышей.
Ульи под навесом –
Поглядывают в белые снега.
Там неба синь
раскинулась над лесом,
Раздвинула с восходом берега.

Там от холма
по белому безмолвью,
Уже отмерив поймою версту,
Грозя всему живому водопольем,
Туманец лёгкий стелется к мосту.

И нам насторожиться не излишне:
Над полем и над спящею рекой,
Как перед бурей, держится затишье
И до поры блаженствует покой.



* * *

Не зима на отходе – злюка,
Проморозила все куточки.
На Луку* – пирожки, да с луком,
А всю Масленицу – блиночки.

Где Никифоры** да Панкраты** –
Там и скатерки новы стелются,
Там столы для зятьёв богаты,
Речи сладкие перемелются.

Забеднели деревни снохами,
И не ходят к колодцам по воду.
А зима по сараям охает,
Всё скликает к себе – на проводы.

Дни Великие да восславятся!
За вечёрками-посиделками
Ей, мятежной, всё больше нравится
Удивлять белый свет проделками.

Но наутро, по заговенью,
С нами запросто распрощается –
Дней Великих грядёт свечение,
Всем прощается, всё прощается....

Лука* – в русском земледельческом календаре приходится на 20 февраля;

**Никифоры-Панкраты – на 22 февраля.

ЯНВАРЬ

Сегодня снова я как во хмелю:
И ясный день, и я тебя люблю.
Всё мило мне: деревья и снега,
И небо раздвигает берега –
Для нас с тобой, идущих по снегам,
Январь к твоим их набросал ногам.

Смешной чудак из Года Петуха,
Как далеко тебе до жениха!
Суров и крут; и к женщинам земли
Теплее быть себе же повели.
Снега бросай, богатство не жалея
Для луга стылого и для полей;
В пустом саду синичкою звени,
А в остальном, дружище, извини...

Сегодня снова я как во хмелю:
С тобой!.. С тобой!.. И я тебя люблю.
Ты, как и я, хмелеешь без вина,
И, можно думать, тоже влюблена –
В меня... В него? И будет же курьёз!..
Но я об этом, люди, не всерьёз:
Смешной чудак из Года Петуха...
Как далеко ему до жениха!



ПОЭТУ

Как ребёнок, радуясь судьбе,
Эту книгу я дарю тебе,
Другу из родного сельсовета.
У меня еще приличный вид,
Я живу открыто, без обид,
Человек со славою поэта.

Словно тень, за мною ходит слава.
Не скажу, что жизнь моя – отравя,
Потому что весел и умею песни петь.
Я – живу! И радость, словно птица,
В моём сердце трепетном гнездится,
Не спугнуть бы её, милую, суметь.

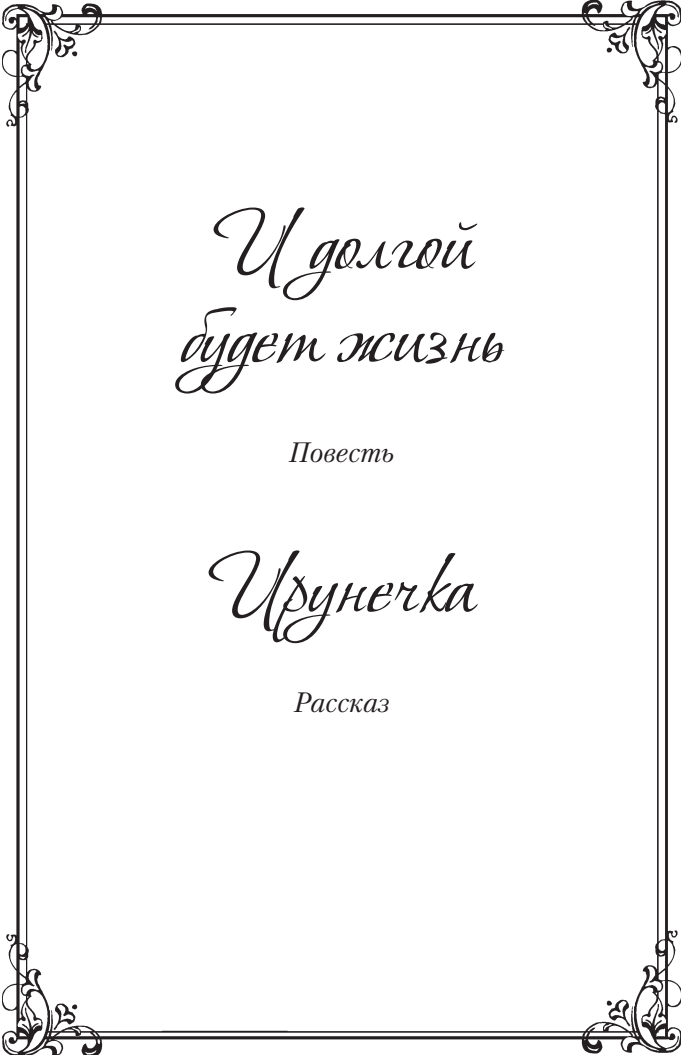
Кто-то скажет:
– Вот бы, мол, и нам бы:
И с хореем знаемся, и с ямбом,
Песни петь мы тоже хороши...

Пой, пиши – с оглядкой на Музу,
Чтобы стих и песня – не в обузу,
Чтобы они были из души.

Чтобы в них – земли родной дыханье,
Свет небес, лугов благоуханье
И звенели зорями овсы;
Чтоб в довольстве пенилась гречиха,
Сохли соловьи по соловьяхам.

На ракитах, мокрых от росы;
Шли дожди и вызревали вишни,
Чтобы ты не оказался лишним
С ними на своей родной земле –
В холоде, а равно и в тепле.





*И долгой
будет жизнь*

Повесть

Ирунечка

Рассказ



*Гори, разгорайся,
Грозою грози мне, любовь!
Напитки и пытки,
Любовное зелье готовь!
Я выпью!
Мне мил твой
Спасительный, сладостный яд.
Пожары, пожары кругом...
Это дни нашей жизни горят.*

В. Боков

1

Тёмной мартовской ночью, когда деревня погрузилась в глубокий сон, Андрей Романов по-тихому вывел из конюшни Чалую, спокойную рысистую кобылу, запряг её в короткие лёгкие санки, и она крупной машистой рысью в считанные минуты вынесла его за околицу, где стояли амбары с зерном. У дверей одного из них рысачку остановил, привязал вожжами за скобу, забитую в угловой столб; не запёртые двери открылись бесшумно, а когда четыре мешка отборной пшеницы были благополучно переправлены в санки, их также бесшумно закрыл.

Андрей особо не суетился, делал всё неторопливо, размеренно, зная, что сторож дед Мироныч второй день пьёт без просыпа, а именно сегодня он протопал вечером мимо него с двумя бутылками в карманах и даже предлагал выпить. Ночной сумрак ему не помеха:

он всегда хотел водить дружбу с кладовщиком Андреем Косулиным, даже породнились, – как же, тёзки, кумовья! – и частенько приходил Романов к амбарам, проведать кума среди дня, так что знал там каждую ступеньку, все закромки и отсеки. И сегодня заходил. Посидели на мешках с зерном, четвертинку выпили – хозяин угостил, ну и, слово по слову, рюмкой по столу, сговорились: Косулин забудет закрыть двери на замок, а остальное – дело не его.

Почему Андрей решился на такой рискованный шаг, да ещё кума Андрея сумел приобщить к этому делу, и сам объяснить позднее не мог. Скорее всего по молодости, а в его возрасте чего только не творят люди; к тому же, он давно уже был предоставлен сам себе и жил на грани риска. Рос круглым сиротой. Отца судили за конокрадство, но со своим воровским промыслом он не расстался; и успокоился навечно лишь после того, как мужики из соседней деревни выследили и расправились с ним по неписаным законам общества: до самого смертного часа не мог не то чтобы сесть верхом на лошадь, а даже на лавке сиделось ему плохо, и ходилось плохо, и беспрерывно надрывался в кашле.

В ту же осень, после похорон мужа, мать оставила его под присмотром деда с бабкой, а сама подалась в город на заработки. Там, видно, и погибла, иначе бы вернулась: нет, не могла бросить она своё дитё. Так и вырос сиротой рядом с дедом, был неплохим помощником ему во всех делах домашних. А воровская природа сказывалась всё же: по-тихому он шарил во дворах соседей – глаз, как алмаз, остёр, и видел всё, что плохо там лежало.

Не вечна жизнь: не стало и деда с бабкой; но Андрей не пропал. Несмотря на молодость, он легко сходился с людьми, мог бескорыстно оказывать им помощь в любых делах, так что его не чурались. Особая дружба у него была с кладовщиком Косулиным; а ещё сдружился с ночным сторожем Капитоном Елисеевым, который охотно протянул ему единственную руку дружбы: вторую потерял он на германской, и по этой причине так и не сумел жениться. И теперь они на пару караулили конюшню и коровник. Залягут с вечера в крайнем деннике, набитом сеном, и – бур-бур-бур, то есть бормочут обо всём, о жизненном; а Капитон ещё и о войне, что руку забрала.

Надоест Капитона слушать – сходит в коровник посмотреть порядок и опять к Капитону; надоест бур-бур Капитону – покряхтит-попыхтит и предложит: «Ты, Андрюх, посиди тут, хошь – подреми, а я схожу до дома – погрею кости на кирпичах». И уходил до утра.

Вот оно, роковое стечение обстоятельств: украсть – это у него было в крови, от предков досталось; Капитон в последнее время уходит погреться на кирпичах каждую ночь – лучшего и не желать; а ещё придумал промыслить у кума мешка три-четыре зернеца и продать на полустанке. Придумал давно. Уже примеривался каким-то образом, и сам не знал – каким, завладеть кумовыми ключами от амбара; а тут как раз Благовещенье подходило. Днём раньше Андрей сначала пришёл с бутылкой водки к куму домой: как-никак, а праздник надо встречать. Пока кум ковырялся в посудине с квашеной капустой, приглядел на столе ключи; но нужен момент, чтобы до них дотянуться: далековато

были от него. Уже почти намерился, а кум – вот он, и ни с того ни с сего, как бы почуяв неладное, сгрёб их со стола и – в карман. Тогда-то и пошёл к нему он другим днём; и рискнул: за амбарной дверью открылся куму о своей затее, а тот взял да и согласился поучаствовать.

Не сказать, что Андрей Романов был закоренелый вор, впух изворовался, – он просто приворовывал; но при любом раскладе – воры на Благовещенье заворовывают, ну, как бы для счастья. От деда слышал: неписанный воровской закон. Почему так? Да считают, как проведёшь этот день, таким для тебя сложится и весь год. Андрей знал, что Благовещенье – Великий праздник на небесах и на земле, что грешников в этот день не мучают; а вот украсть для него греховным делом не считалось. И с другой стороны: в этот день девка косу не заплетает, то есть не работают люди, даже птица гнезда не вьёт. Вот кукушка завила его в Великий день – Бог наказал: без гнезда на всю жизнь оставил её племя птичьё; или крот: покопал землю на Благовещенье – и Бог ослепил его за это.

И всё же гены сработали.

Такой же машистой рысью Чалая промчала его по дороге в обратную сторону, уже от складов; а дальше в этой ночной деревне для Андрея Романова всё было как во сне. Чалую направил он в проулок, мимо кумова дома; раз за разом прихлопывал вожжами по крупу, рысачка прибавляла ходу; железные подреза легко скользили по заледенелой дороге, ещё не испорченной тёплыми ветрами и солнцем. «До полустанка пять вёрст, – прикидывал он. – Речка ещё не разлилась. По

черепку туда и обратно часу хватит с лихвой. Ну, ещё время там побыть, у своих людей... до свету управлюсь».

Не управился. Лыдистая дорога пошла под гору, к реке. Санки напирали, и Чалая всё прибавляла, хотя Андрей тянул и тянул вожжи на себя, пытаясь её сдержать. Впереди, не видимая в темноте, шумела река, – очевидно, после тёплого солнечного дня, уже в ночи, воды хорошо прибавило, и она теперь заливала мост. Почуяла опасность и Чалая; она заскользила по льду, упираясь передними ногами, как только ей было можно, тревожно цокали подковы – и скорость начинала падать. Но на излёте, когда, казалось бы, благодаря умной лошади, они смогут без каких-либо сложностей въехать на мост, санки вдруг занесло в сторону, а мешки выбросило куда-то в придорожную темень. Романов вылетел из санок вместе с мешками, но вожжи из рук не выпустил, держал их крепко, а потому его несколько метров ещё проволокло по земле, и он одновременно с ними оказался в холодной воде. Чалая испуганно захрапела и, как бы присев на задние ноги, тоже медленно погружалась в воду.

«Мимо моста», – только и подумал Андрей. А дальше его действиями руководил инстинкт самосохранения: нашарил за голенищем нож, держась другой рукой за оглоблю, добрался до хомута и, не примериваясь, полоснул им наугад по ремням седёлки и гужам. Лошадь почувствовала свободу и, барахтаясь, шумно выбралась на берег. Потом он вытягивал из воды санки; привязав к ним вожжами кобылу, всё ходил и ходил по обочине, отыскивая поклажу. Нашёл не сразу, и

только три мешка; четвёртый швырнуло из санок так, что, ударившись о мёрзлую землю, он укатился далеко за обочину, развязался, и зерна осталось в нём всего ничего. О себе он пока не думал; мокрый, уже почти заочневший от ледяной воды, стоял возле Чалой и никак не мог определиться, что ему теперь делать.

На беду, уехать с места происшествия и замести следы он так и не успел: по каким-то делам, ведомо было только ему одному, выбрал для себя эту дорогу председатель колхоза. Уже светало, и в серой полутьме нельзя было не увидеть картину случившегося. А примерно через пару часов, уже повидну и под конвоем, Андрей Романов расстался со своей деревней навсегда. И так закрутил его водоворот последующих событий, что в редкие часы воспоминаний о своём прошлом уже почти не верилось ему в нормальное будущее и казалось: он зашёл в глухой тупик, и ни в какую сторону ему дороги нет. А случилось это перед самой войной. По прошествии лет Андрей и сам не мог уяснить, как он прошёл своей дорогой на этом отрезке жизни и остался в живых, когда на просторах большой страны смерть выкашивала миллионы соотечественников, вовсе не испорченных для жизни и достойных лучшей доли.

После суда, на котором Андрей ни словом не заикнулся о куме, его переправили в Тамбов. Казалось, тюремные двери закрылись за ним надолго, но – война! Фронт стремительно приближался, и заключённых приказали эвакуировать. Под усиленной охраной их уводили от фронта по просёлочной дороге, раскисшей от затянувшегося ненастья, разбитой колёсами сотен

машин, танков и конных повозок. Они опаздывали, а потому конвою пришлось прихватить на дорогу тёмное время суток. Куда их тогда вели, он идти не хотел; как он будет жить дальше – не задумывался, но уже с первых шагов сквозь сырую и тёмную ночь он понял, что именно здесь его шанс вырваться на свободу. И, не думая о последствиях в случае неудачи, Андрей лёг в глубокую колею, а колонна протопала дальше, вгоняя в жидкую грязь его крепкое тело. На каком контрольном пункте, на каком километре той дороги его не досчитались в колонне заключённых, он так и не узнал; да и стал ли достоверным фактом его побег? Возможно, стал, но не осталось тому свидетелей: на войне всяко бывало.

Уже через много лет после войны, когда по амнистии государство простило всех преступивших законы военного времени, он сам открылся за рюмкой водки; а его собеседнику, бывшему фронтовику, возвратившемуся в деревню после победы с орденом Красной звезды и тремя солдатскими медалями «За отвагу», его признания было слушать неприятно, и в то же время приходилось удивляться, насколько сильным оказался этот человек в пучине земных бед, свалившихся на него.

Тогда его колонна скрылась в ночи, а он, толком не зная, где сейчас находится, начал прикидывать, куда ему идти: ни документов, ни одежды, которая бы не вызвала подозрений, кто он есть на самом деле. Дождался рассвета в густом кустарнике на берегу ручья, поднялся на взгорок, огляделся: дорога была пуста. На обочине разбитые повозки и автомашина, рядом два трупа, мужчина и женщина, – следы бомбёжки вражеской авиацией. При-

мерил одежду с убитого – подошла; нашарил в кармане документы – в порядке. А сам уже решил: подалее от этих мест, туда, где глухие деревни и посёлки, в те края, куда идут и едут напуганные войной люди.

Удача и здесь сопутствовала ему: влившись в колонну беженцев, он благополучно добрался до железнодорожной станции. Вдруг налетели немецкие самолёты; в ушах взрывы авиабомб, пулемётные очереди, крики и стоны раненых, детский плач. Потом в сознании его какой-то провал, потом снова такая же картина, но теперь с непонятной острой болью в правой ноге. Ему помогли доковылять до здания вокзала, наполовину разрушенного, но по-прежнему выполняющего свои функции, а по воле судьбы ставшего госпиталем.

– Пулевое ранение, – осмотрев рану, сказал ему человек в белом, но уже довольно грязном халате, – сквозное; заживёт быстро, а вот хромота может остаться.

И распорядился, чтобы рану забинтовали. А вечером того же дня ему помогли сесть в поезд, уже со справкой о ранении, в компании нескольких семей, также спасающихся от наступающего врага, Андрей сумел до больших холодов уехать, как он потом говорил, на край света и там затеряться. Дорога была долгой, и он всё ловил новости с фронта. Больно ударила одна из них, когда услышал, что немцы взяли Орёл. Всё думал о деревне, о родителях: как-то они там? И о себе тоже: не давало покоя, что едет под чужими документами. Откроется – воля случая, и ещё статью пришьют: мол, убил человека, чтобы завладеть документами. Да и что это за человек, никто ему не скажет, – может, какой

убийца. По своей натуре Андрей Романов был человеком рискованным и всегда шёл на риск сознательно, когда было из чего выбирать, а тут с какой стороны ни подойди – везде риск: с чужими документами – плохо, со своими – тоже. Он выбрал меньшее из зол: в конце пути от чужих избавился, а о своих доложил, что в дороге при бомбёжке пропали. Подумали: человек не врёт, вот он, и хромой, к тому же; словом, ему поверили и выписали новые документы, с его настоящей фамилией. И новая справка появилась в кармане, что имеет ранение и для фронта не пригоден.

Судьба благоволила ему: война стёрла с лица земли все следы его криминальной жизни; а на сибирских просторах Андрей не только затерялся, но и утвердился в жизни как нормальный советский человек. Так получилось, что определили его на постой к Груне, по-деревенски её звали Грушей, – переживающей свою первую молодость бабёнке, овдовевшей уже много лет тому и остающейся одинокой. Её нехитрое наследство, – дом, сараи, банька и всё, что находилось в них, не позволяло ей особо бедствовать. Оставил Груше муж в наследство и свою редкую профессию: научил валять валенки. Груша была крупного телосложения, с крепкими руками, и оказалась примерной ученицей в этом деле: при живом муже нередко становилась рядом с ним, и валяли они их уже как бы семейным подрядом. И Андрей, сумевший заменить её мужа, стал у Груши таким же примерным учеником, а потом и её заменил в этом деле. И скоро уже к нему потянулись с мешками овечьей шерсти; а Груша только посмеивалась: мол, где это он раньше был.

Действительно, валяльщик из него получился отменный, он словно родился для этого. Правда, военное время, не долго думая, в его деятельности провело значительную корректировку: сразу же обложило налогом и обязало поставлять продукцию на нужды фронта. Приговор Андрей принял как должное: надо – значит, надо. Поставлял, но при этом умел поработать и на себя: за ночь пару валенок – вот они, а хозяин их ещё затемно за дверь; валенки – ему в мешок, деньги – себе в карман, и, милый человек, до свидания. Теперь приходи, власть, проверяй: только для фронта, для победы – вот они, а к вечеру ещё пара будет. Сильные жилистые руки, привыкшие к тяжёлой работе, непроизвольно сжимались в кулаки, как бы подтверждая эти самым искренность его слов и желаний.

Давно закончилась война, мирная жизнь налаживалась – пусть не так стремительно, но перемены к лучшему налицо. И Андрей с Грушей жили – не бедствовали: всё также люди увозили с собой валенки, а в кармане у него оставались деньги; да и домашнее Грушино хозяйство преуспевало. И жить бы ему да жить в том краю среди лесов, сполна отдаваясь своему ремеслу и радуясь, что видит каждый божий день Грушу и белый свет. А не получилось: заболела у Андрея душа, затосковал по своей малой родине. Да, здесь хорошо, жизнь у него вошла в нормальное русло: крыша не течёт, на столе не пусто. Единственное, что печалило: никак у него с Грушей не получалось обдетиться. Не получалось – и всё! Сколько пар валенок сваяли за все эти годы, а ни одного детёнка так и не смогли сваять; и война позади,

а в их домишке лавки вдоль стенки и у окна, и вокруг стола пустуют. Стал подумывать, что не случайно: и с мужем у неё не получалось. А тут заболела душа, – где больно, там душа, а болело в груди; и не слышит он детского смеха в доме и около, и света белого мало вокруг, всё лес да лес, считай, от самого порога: сразу за огородом – в одну сторону, а в другую – чуть дальше, сразу за речкой. День засветится – когда-то ещё солнце выберется из-за него, чтобы посветить людям. То ли дело – дома: до горизонта взглядом не дотянешься, не достанешь края. И снятся ему горизонты такие же далёкие, подкрашенные то рассветами, то закатами, а среди дня – пронизанные солнцем.

Как после будет говорить Андрей Романов, вся жизнь его состояла из одних случайностей: так было и тогда. Понравился он соседской девчужке Арине; чем – это знала только она, молодая-молодая, небольшого росточка, с чёрной косой до пояса и настолько трудолюбивая и покорная, что Андрей порой удивлялся: есть же на свете такие люди! Она часто приходила к ним, по-соседски затевала разговоры о делах домашних с Грушей, а сама украдкой посматривала в его сторону, да так, что у Андрея внутри появлялся непонятный холодок. Однажды Груша отправилась погостить на другой край деревни, и Аришка – тут как тут. Какими же глазами она смотрела на него: ласковыми-ласковыми, просящими...

Ими не было сказано ни слова: только горячее дыхание, суетливые движения их рук, обнимающих друг друга; а потом, когда Аришка уходила, лишь непонятное чувство неловкости зависло между ними, словно они

друг другу наступили на ногу и не извинились. Слова пришли позднее. И Андрей снова рискнул: легко снялись они с Аришей с насиженного места, пока не обременённые детьми, – словно пара перелётных птиц, и вёл её вожак к родному гнездовью. Но в дороге решил, что всё-таки будет лучше, если они совьют себе гнездо где-то поблизости, недалеко, только чтобы дышать воздухом родного края, видеть горизонты, которые позвали к себе.

2

Деревня, куда они приехали, им понравилась: дома в два порядка, за огородами – луг, речка, как в том краю, откуда сорвались. Сразу приглядели себе место по верхнему ряду, на взгорке: простора особого нет, но и нельзя сказать, что будут в тесноте с соседями. Приехали в деревню весной, а до осени сельсоветская власть помогла им построить домик – выделила из лесного фонда необходимое для стен и крыши, которую покрыли свежей соломой. На всё про всё деньжата у него имелись, и семья на новом месте обстроилась благополучно. К тому же, в колхозе Романовым сразу предложили работу: Андрей, пока строился, поработал ночным сторожем на ферме, а потом определили его заведующим фермой, как бы убедившись, что владеет грамотой и к делам относится по-хозяйски; и Арина при нём – в доярках.

По правде сказать, работать на ферме ей особо не пришлось: на степном просторе, в новом доме новые лавки не пустовали. А деревенские загибали пальцы: Валька, Витька, Николай... И словно по расписанию, и все как штампованные. Павлик стал в семье четвёртым.

Как и все его сверстники, днями носился по улице, а летом, по теплу, время проводил на речке. К осени это был совсем другой пацанёнок: в смоляном загаре, не стриженный, с выгоревшими волосами, ноги – в цыпках, чем и отличался от друзей. «Неслух, – как бы оправдываясь за неряшливый вид сына, говорила мать, – зову, зову домой днём – не дозовусь; вечером – шмыг в кровать и заснул, а будить жалко». Иногда она приходила на речку сама; неслуха ловила, шлёпала ладонью под зад, а потом чуть не волоком – к воде, и начиналась экзекуция, от которой Павлик ревел на всю речку. Мать его слёзы принимала конечно же близко к сердцу; пожалеет ласковым словечком, погладит по вихрам, но дело своё делала и делала, из-за чего, собственно, туда и приходила: намыливала ему ноги до коленей и, как говорили бабы, оттирала прошлогоднюю грязь вместе с цыпками. И ещё приговаривала:

– Не реви. Будешь знать, что домой надо приходиться вовремя и мыть ноги каждый день с мылом.

Всё, что касалось их семьи до своего рождения, Павлик не знал; да и откуда бы он мог узнать, если Романов-старший о своих довоенных злоключениях никому не рассказывал, даже Арине ни одного лишнего слова, словно это был не Андрей Романов, а могила, на которой и в благоприятный год не прорастало ни одного живого ростка из прежней жизни. Мать же при всём немногословии рассказы о своей малой родине строила так, что Павлику они казались сказкой, написанной Бажовым, и героями её были отец с матерью. А деревенские думали одинаково: разве мало семей

война сорвала с насиженных мест; и хотя она давно позади, всё мечутся люди с поломанными судьбами по стране в поисках счастливой доли. Вот, мол, и Арина с мужем: с севера они; у неё отец и брат были охотники, и война забрала обоих, потом похоронила мать, так что родительский дом опустел. А сама – за мужем: куда иголка, туда и нитка. Теперь вот детей воспитывает как может, и какая она мать – люди видят.

Отцу за детьми смотреть особо некогда: на ферме да на ферме. И хотя его не нормированный рабочий день иногда укладывался чуть ли не в двадцать четыре часа, на делах фермы это особо не сказывалось, потому что Романов по прошествии времени пообвык в новой для него обстановке и всё чаще и чаще самоустранялся от них. По первости: хром – туда, хром – сюда и снова туда по ферме, и всё вприпрыжку, да с каким-то пришлёпом, за что прозвали его Шлёпнойгой; и всё у Шлёпнойги было на виду. Пообвык – и скорость потерял, учёт запустил, каждый день под хмельком; а ещё стал он больше внимания уделять вдовушкам, которых после войны в каждой деревне было довольно много. Выделили ему лошадку – как бы служебный транспорт, с учётом его хромоты, и география поездок расширилась: теперь вдовушки принимали его и на дому.

Арина же – с детьми, а они уже все в школьниках числились. Отец, смотря на них, иногда ахал: мол, это как же так быстро выросли, что он не заметил! Замечать стал, когда на одном из заседаний правления колхоза его освободили от работы, а другого места не предложили. «Не пропаду», – сказал сам себе Романов. Теперь

он становился домушником: всё дома и дома; и скоро вместе с домом снова пропитался запахами, которых предки его не нюхивали ни в какие века. Это значило: Романовская валяльня снова заработала не от случая к случаю, а с хорошей нагрузкой. И внимание его сконцентрировалось на Павлике – как же, самый маленький в семье, только пошёл в школу, нужен за ним пригляд и воспитательные меры. Их в отцовском арсенале было не много: кнут и пряник.

Собственно, на воспитание всех детей он смотрел с позиций кнута и пряника, хотя, сколько себя помнил Павлик, кнут в руках отца он видел чаще, чем эту желанную сладость. А приносил отец её домой всегда в кулке из старой газеты, и обязательно с бутылкой водки в кармане. Потом он узнает, что это сердобольная тётка Ольга, торгующая в магазине, всегда старалась нагрузить его кулёчком пряников или конфет, тем самым делая детей счастливыми. «Так, – говорила она, – на бутылку себе нашёл, а про детей забыл. Вот им. – И кулёк на весы: – Не на закуску тебе, а детям, царю в первую очередь. Добавляй полтинник». Андрей шарил в карманах: когда находил, а когда старания его были впустую; если нетрезвый, с трудом выговаривал:

– Запиши.

– Опять под карандаш, – ворчала тётка Ольга, но тут же доставала из-под прилавка замусоленную тетрадь, в которой числилось должниками, наверно, полдеревни.

Андрею Романову можно было записывать хоть каждый день и по много раз, потому что деньги у него практически не переводились, и с долгами рассчиты-

вался сразу, Вся округа и дальше, за горизонт, ходила в его валенках. В магазине холодно, она в валенках, но обужка эта уже почти сносилась, нужны новые, под галоши девятого номера. Свалить их: за номер – рубль, это девять рублей. Недорого, но Романова не объедешь, особенно в сезон, зимой: волну у тебя возьмёт, валенки сваляет и отдаст другому. Тебя зауважает – всех очередников отставит, но тебя обует.

Как-то зашёл в магазин бригадир, а Романов – тут. Бригадир – к нему, ну и говорит:

– Алексеич, ты хороший мастер. Валенки твоей валки мягкие, ноские; в волне не обкрадываешь – они толстые, не кленовый лист. Сваляешь мне – по рублю за номер, как ты берёшь, сразу отдаю; а за каждую пару, сверх того, я тебе по четвертинке – как премию.

– Сколько пар? – только и спросил.

– Семь, – сказал бригадир, и тут же уточнил: – Две – под тринадцатый, две – под девятый и детишкам три пары.

– Ставь сейчас за одну...

И каждое утро, по темноте, шлёпал он своей ногой к дому бригадира с парой валенок под мышкой – за неделю, ни днём позже, с заказом управился. Правда, на седьмое утро он пришёл только с одним валенком: то ли ночь была для мастера коротка, и пару не сумел осилить, а может, дорогой потерял его. Но к вечеру принёс и другой, получив премию вторично. В то же время всего одну пару кому-то валял уже год. Это продавщица хорошо знала, а потому так весело разговаривала с ним всегда. Наверно, и он понимал, за что к нему такое уважение.

В последний раз у него с продавщицей разговор получился как под копирку, друг друга понимали с полуслова. Романов бутылку в карман и – на выход.

– погоди, эй, Андрей, погоди! – вернула его Ольга. – Без кулька ушёл. И не забудь: царю в первую очередь.

Романов вернулся к прилавку, и на его лице засветилась улыбка – такая бывает у человека, когда ему напоминают о чём-то весёлом и важном в жизни, случившемся с ним, но человек даже в минуту откровения как бы не хочет, чтобы ему об этом напоминали. «И эта знает», – засовывая в карман кулёк и ковыляя через порог, не зло подумал он.

Всё верно: продавщица Ольга знала и лукавенько напомнила ему давнюю историю, а значит, знала не только она, но и покупатели, знали в школе, словом, знали многие; и хотел Романов этого или не хотел, он давно усвоил, что любая новость, хорошая она или плохая, пробивает дорогу себе сама. Павлик узнал эту нехитрую историю, которая касалась непосредственно его, когда пошёл в первый класс.

Был последний день лета, завтра уже первое сентября. Постриженного «под лыску», умытого и одетого во всё новенькое, привёл его в школу старший брат Николай. Как он сказал, все приходят в школу за день до начала занятий занимать парты. Учительница встретила их у дверей класса и усадила Павлика за парту, как раз в том ряду, который был у самых окон. Павлик обрадовался хорошему месту: в окно ему видна спортивная площадка с турником и волейбольной сеткой, за ней – дорога с людьми и машинами. В классе три ряда парт,

и на Павликовом уместились все первоклассники. Он их знал, – одноклассники, с которыми каждый день рассекал воздух по деревенской улице и на лугу, а ещё по садам.

Школа маленькая, классных комнат не хватало, а новую школу, которая рядом, достроить к началу учебного года не успели; и по распоряжению директора в двух комнатах для начальных классов наполняемость увеличили за счёт совмещения уроков: первоклассники теперь сидели с четвероклассниками, а второй класс – с третьим. Так Павлик оказался в одной классной комнате с братом: четвероклассники занимали два других ряда.

Учительница вошла в класс сразу после прозвеневшего звонка на урок. В классе стало тихо, два ряда сразу встали, у окна – тоже, глядя на них, но не весь ряд, в том числе не встал и Павлик.

– Здравствуйте, дети, – негромко сказала она, подходя к столу. – И садитесь, кто встал. А для тех, кто не встал, скажу: когда прозвенит звонок на урок и учитель входит в класс, ученики за партой должны вставать. А теперь давайте знакомиться: меня зовут Антонина Петровна. С четвероклассниками мы знакомы, а с первым классом этим сейчас займёмся.

Она села за учительский стол, раскрыла классный журнал и, начиная с первой буквы алфавита, стала называть фамилии; а в ряду около окон кто-то за партой вставал, и с ним учительница проясняла интересующие вопросы.

– Романов Николай, – услышал Павлик голос Антонины Петровны и подумал, что это касается не его, а брата; но если бы он в это время смотрел не в окно, а

на учительницу, то непременно встретил бы её взгляд, направленный на него.

– Там не я, – вставая, стал пояснять брат. – Это он у вас в журнале, но он у нас Павлик

– Я знаю, Коля, что не ты, – улыбнулась Антонина Петровна. – А почему – Павлик, если он Николай?

– Так получилось вот...два Николая, но мы все дома зовём его Павликом.

Павлик слушал и не понимал, почему он Николай, если мать с отцом, да все в семье его ни разу так не называли.

– Два Николая, – хихикнули в рядах третьеклассников.

– Так отец записал в сельсовете, – объяснял брат.

– Николай первый, Николай второй, – снова тот же голос из-за братовой спины.

Все весело засмеялись.

– Тише, тише, – успокаивала Антонина Петровна, но и сама не удержалась, тут же рассмеялась:

– Как у царей: Николай Первый, Николай Второй. По классу снова весёлый шум.

– Романов Николай, – обратилась к Павлику Антонина Петровна, – так тебя Колей звать или Павликом? Ну-ка встань, встань, чтобы тебя все видели.

Павлик встал и молчал.

– Ну, скажи нам, как тебя дома зовут?

– Павликом, – отчего-то краснея, ответил он.

– Вот и хорошо, Павлик, прояснили, – удовлетворённо сказала Антонина Петровна; и как бы успокоила его: – Молодец, садись.

После этого знакомства в школе над Павликом постоянно подшучивали: нет-нет да и услышит:

– Привет царю!..

– Не царское это дело – грядки копать...

И ещё что-либо из арсенала насмешек, затрагивающих его царское самолюбие.

Но Павликова жизнь уже со школьных лет складывалась не по-царски. Эту злосчастную ошибку в свидетельстве о рождении он вначале не воспринимал как какую-то неудачу. Из школы домой тогда пришёл не особо расстроенным: до него ещё не дошло, что он становится объектом насмешек, дружеских подколов. Потом понял; и как на дрожжах стала подниматься в нём волна протеста к любому, пусть даже без умысла злого, бросившему в его адрес это, как он теперь считал, оскорбительное слово: с обидчиком всегда готов был Павлик посчитаться.

Время тоже лечит человека, как вылечило оно и Павлика. Не в одночасье, а через годы он стал даже гордиться: отец, словно мудрец какой, дал ему царское имя, с фамилией! И совсем не важно, какая у него получается жизнь, – хорошая или так себе, он всегда считал её нормальной, а значит, отца казнить ему было не за что.

Павлик стал четвёртым ребёнком в семье, и к тому времени отец его рассудок свой не пропил ни на грамм. В добром здравии на своём служебном транспорте, со справкой в кармане и с бутылкой водки, с куском сала и с хлебом в передке повозки, поехал он в сельский совет сына регистрировать. Андрею не повезло: секретаря Марии Васильевны на месте не оказалось – уехала в райцентр, председатель где-то на территории собирал

налоги, и Романов уже хотел отправиться восвояси, но, на его счастье, председатель появился. Они были знакомы, часто встречались на колхозных собраниях, на заседаниях правления колхоза, когда Романов отчитывался о делах на ферме. И сам Бог велел им уединиться в кабинете начальства, чтобы обмыть новорождённого. Послушно это сделали; а чтобы дорога была не напрасной, ведь до сельсовета десять вёрст, сердобольный председатель захотел человеку помочь.

– Знаешь, Алексеич, – сказал он Романову, – всю документацию ведёт Смолякова, а она хоть бы к ночи вернулась. Давай порешаем так: оставь справку, я ей завтра скажу, и она тебе свидетельство сготовит. Я же буду у вас завтра после обеда; словом, свидетельство привезу.

На том и порешили. Потом поговорили о делах на ферме – Романов ещё состоял при должности, о семейных заботах.

– Да, как сына-то назвали? – опомнился нетрезвый сельсоветчик. – Без имени свидетельство не выписывают.

– У меня это будет четвёртый, – также нетрезво сказал Романов и начал загибать пальцы, – Валька – старшая, потом Витька, последний будет Колька...

– Как ты, говоришь, сейчас сына назвал, Колькой? – переспросил тот.

– Да, Колькой. Это не я, баба захотела так, а я перечить ей не стал. – Он продолжал загибать пальцы и говорить. – Ещё Павлик вот...

– Ну и наплодил же ты, – как бы похвалил его председатель. – Как это ты везде успеваешь? Где ты хоть их растерял, по всему свету?

Они бы, может, долго вели разговор на эту тему, но, вопреки предположениям председателя, хлопнула входная дверь, и на пороге появилась Мария Васильевна; и всё, что отставлялось на завтра, она сделала в присутствии Романова. Ей он также пересчитал по пальцам всех детей; она его переспрашивала, как назвали сына, а он, как и председателю, нетрезво объяснял:

– Павлик самый-самый...да, вот прям по росту тебе сосчитаю: Валька, Витька... Колька, последний, ух какой будет мужик! А Павликом как бы тоже неплохо, а?

Что из его пьяной речи Мария Васильевна поняла, то и написала в метрику и печатью скрепила – как и должно быть. Романов со спокойной душой метрику положил в карман, и скоро его служебный транспорт пропылил по узкой проселочной дороге в обратном направлении.

– Сделал? – спросила по приезду мужа домой Арина.

– Да, – доложилась Андрей, – можешь полюбоваться.

Но ни он, ни она в документ сразу не заглянули, и ещё долго из-за его невостробованности не знали, что по воле случая теперь в их семье два Николая: Николай первый и Николай второй, как когда-то было в царской династии Романовых. А узнали – махнули на всё рукой: мол, ничего страшного нет, пусть пишется Николаем, а для них он всегда будет Павликом.

3

– Павлик, пора вставать, – будила его по утрам вечно куда-то спешащая мать, – завтрак стынет. – И уже через минуту-другую: – Я ушла.

Павлик, даже если и не спал, всё равно не спрашивал: куда она и зачем? Спешить ему было некуда – лето. Молча открывал глаза: в его царских палатах полно солнца, где уж тут лежать! Обычно на стене шепеляво напоминал о себе старенький радиоприёмник, а несколько дней назад вообще замолчал, как бы умер. Вчера Павлик снял его с гвоздя, открыл заднюю крышку и по очереди перепробовал пальцем все разноцветные проводки. На втором заходе радио заговорило в доме так громко, что его услышала на улице мать и вернулась:

– Никак сделал? – с улыбкой спросила она. – Либо радистом будешь, когда вырастешь?

Кем он станет, Павлик ещё не знал; но он тоже был рад, хотя не совсем понял, отчего так громко оно заговорило: можно было думать, что детский палец сработал, словно волшебная палочка. Радость его была недолгой: на другой день радиоприёмник вообще замолчал, как бы протестуя против вмешательства в его личную жизнь. А у бабки Марфы, дом которой напротив, через дорогу, радио в открытое окно кричало на всю улицу, заставляя Павлика завидовать: кричала радиола – её подарил бабке Марфе сын, работающий на Донбассе шахтёром; и она могла поймать, наверно, любую радиостанцию мира и крутить пластинки.

Сегодня уже с утра у него дружок Сенька, сидят на траве, возле дома. Солнце на них – в упор, но ещё не такое жаркое. Через дорогу – дом бабки Марфы; дальше, через огород, луг пестреет разноцветьем, и как дымка какая-то над ним, – наверно, роса истаивает. А из окна бабки Марфы то музыка, то вот красивый,

торжественный голос: «Говорит Москва. Московское время – девять часов тридцать минут. Передаём последние новости».

Но вот радио за дорогой не стало слышно: окно закрылось. На пороге появилась хозяйка: дверь приотворила, накинула намётку, застопорила её палочкой, а к двери приставила полынный веник, – мол, в доме никого нет, дверь заперта, и с сумочкой в руках поспешила в магазин. «Николай, Николай, наш царь-батюшка, да не царское дело ты затеваешь», – некому было тогда сказать эти слова Николаю второму; да и крестьянскому сыну Павлику, отец у которого не голубых кровей, не царского роду-племени, также некому было сказать. Они сговаривались недолго – сработали гены Романова-старшего: как бы просто катая на проволоке зубчатое колесо, пробежали по пыльной дороге до магазина и обратно – убедились, что хозяйка пошла именно туда, а сами тут же назад. Радиолу выставили за порог в полминуты, привязали к ней тонкую проволоку и, разматывая её по земле, пошли через дорогу. Издалека смотрелось: резвится ребяшня, катает колесо, теперь вот отдыхает. А они славненько так присели на пригорочке, неподалёку от дороги, ну и тянут-потянут за проволоку по-тихому, пока через пару минут радиола не оказалась через дорогу от бабкиного дома. Себе домой добычу Павлик не понёс: искать будут, и спрятал за сараем, в крапиве.

Уже к вечеру участковый Иван Фёдорыч разобрался с этим нехитрым делом: на пыльной дорожке, что вела к дому бабки Марфы, бывший пограничник усмотрел

следы босых детских ног, а ещё оставила хороший след радиола. Потом с полчаса поговорил с друзьями, конечно, с каждым в отдельности, и поугав мерой наказания за содеянное, и они признались – чисто-сердечно и со слезами на глазах. Иван Фёдорыч был человеком добрым по отношению к детям, а потому для них в арсенале у него были свои воспитательные меры, им тут же применённые: каким способом радиола из бабушкиного дома ушла за дорогу, таким она и возвращалась на своё законное место. Разница была лишь в одном: если утром друзей с радиолой никто не видел, то возвращали они её уже всенародно, – прослышав об этом, люди пришли поглазеть.

А ещё Павлик понял, что теперь пряников ему не видеть долго. Мать, конечно, сильно ругала: «Мало тебе, – сердито выговаривала она, – надо бы дать побольше», и раза два намахнулась тряпкой. Но это намерение так и осталось невыполненным: после отцовского кнута приводить его в исполнение она не захотела. И ещё добавила:

– Павлик, будешь делать плохо – Божечка тебя накажет. Как? Как захочет. У тех, кто ворует, отрезает руку, ту, которой брал чужую вещь; кто ругается плохими словами – отрезает язык, кто не слушается – ухо, так что бойся этого. А он всё видит.

При этих словах она указала пальцем на угол напротив двери, где на полке за занавеской стояла маленькая иконка.

Но Павлик материно предостережение скоро почти забыл, потому что он в своей жизни ещё ни разу не видел людей без уха или без языка. Вот и друзья его:

воровали яблоки в садах, а всё ходят с руками; Сенька сильно ругается матом – у трактористов научился, когда ходил к ним на базу, но язык-то при нём, Божечка не отрезает. Правда, может, он уже старенький, как дед Герасим, и плохо видит и слышит?

Неясных вопросов у Павлика много, а вокруг столько удивительного, что ему особо некогда на них отвечать. Материнские слова в его ушах звучали всё тише и тише, и совсем бы выветрились из головы, не случись с ним ещё одно происшествие, озвучившее её наставление с прежней силой.

Было это уже осенью, когда на тонких паутинках поплыло над огородами бабье лето; зажелтели тополя и берёзы, сады в своих зелёных одеждах тяжело вздыхали, роняя на землю рано созревшие плоды. Павлик приходил из школы – портфель на лавку, а сам вместе со всеми к столу, за которым, кстати, долго не засиживался, потому что кто-то обязательно начинал рассказывать о его проделках в школе: с кем подрался, сколько ему было сделано замечаний на уроках и за что. Задержится – того и гляди последует наказание.

Случалось, за плохое поведение на уроке его ставили в угол или выставляли за дверь, и тогда Павлик вообще не спешил домой, опасаясь ещё одного урока – отцовского. Точно так было и на этот раз, даже ещё хуже. За разговоры во время урока математичка не просто выгнала его из класса, а отвела в кабинет к директору, которому он по всему тоже давно надоел. Тот время на разговоры с ним тратить не стал: провожая из школы, только и сказал:

– Надоел ты всем, как горькая редька. Отправляйся домой и без отца не приходи.

Такого поворота событий Павлик не ожидал. «Домой...за отцом», – всё слышалось ему. Страх очередного наказания заставил Павлика спрятать портфель в кустах сирени и часа полтора послоняться по тракторной базе, где наблюдал совсем другую жизнь, не похожую на школьную, – она ему была ближе и как бы понятней. Вот дядька Степан: штаны и пиджак в маслянистых пятнах, и даже лоб с руками припачканы; позвякивая ключами и кого-то поругивая матерными словами, полез под трактор. Увидев его, спросил, как у взрослого:

– Что нового?

– А ничего нету, – по-взрослому ответил Павлик.

– Так уж и ничего, – возразил дядька Степан. – Вам вот школу новую построили. Ещё не завалили вы её?

– Она крепкая, и стены толстые, не завалишь.

– Перед вами ничего не устоит, – засмеялся он. – Вы с китайской стеной за урок справитесь.

Дядька Степан ещё некоторое время что-то помурлыкал там себе под нос, помурлыкал, потом вылез и ушёл в кладовую, наверно, поспрошать запчасть.

А тут из кузницы послышалось: тюк, тюк, тюк... Заглянул туда: на наковальне раскалённая болванка; кузнец к нему боком, в руках молоток – тюк, тюк, тюк, а искры – в стороны.

– Что, шкет, интересно? – только и спросил, и тут же, как директор из школы, выпроводил: – Чеши домой, учи уроки. Тебе здесь делать нечего.

И Павлик пошёл по кругу. У пилорамы тоже не дали задержаться; зерноток давно опустел, лишь голуби лениво подбирали потери из-под сортировальных машин. Дальше был магазин – стоял он на высоком месте, возле перекрёстка, и там всегда была жизнь: люди приходили и уходили, слышались разговоры, позванивала пустая посуда. когда продавщица ставила её в ящики. К магазину липли собаки, – наверно, их тоже откуда-нибудь прогоняли, и они приходили туда и лежали на солнце, грея свои тощие бока и ожидая, кто бы что бы им прибростил.

У магазина они появились одновременно: Павлик подошёл, а Аркадьич подкатил на велосипеде. Это был их сосед, довольно живой старичок, невысокий ростом, сухощавый; под выцветшей кепкой седые волосы, по которым уже начинали скучать ножницы и расчёска. Сосед улыбнулся ему приветливой улыбкой и стал хвалить свой велосипед, – по всему недавно купленный и ещё не запылённый, он поблёскивал на солнце свежей краской. И вдруг Аркадьич как спохватился:

– А ты что не в школе?

Павлик ещё не сообразил, что ему ответить, как из магазина вышел колхозный ветврач Красноюков.

– О, Петрович, – увидев его и сразу забыв про Павлика, обрадовался старик. – А я вот и хотел тебя увидеть.

– Что там случилось? – спросил его ветврач. – И говори скорее, а то мне некогда.

– Поросёнок... – начал было говорить старик, но тот его перебил:

– Знаю, знаю, ты мне вчера уже говорил. Некогда было.

– А сейчас?

– Через магазин.

– Как же, как же, – зачастил Аркадьич; и велосипед к стене, у порога, – без этого нельзя, пошли, пошли.

И они скрылись в магазине. Через неплотно закрытую дверь Павлику было слышно, как тоненько прозвенели стаканы, и разговор их сделался оживлённей; а он, как загипнотизированный, всё смотрел и смотрел на велосипед. Потом подошёл к нему, зачем-то погладил рукой сиденье, другую руку положил на руль. Дальше он сладить с собою уже не мог: отвёл велосипед от порога, перебросил правую ногу через раму и, еле-еле доставая до педалей, направил его по дороге, что уходила под уклон. Бросая своё щуплое тело то в одну сторону, то в другую, как бы ёрзая по раме, старательно давил на педали, и велосипед, весело сверкая спицами, стремительно понёс его вниз. Внизу на их пути стояла мельница с крупорушкой, но дорога уходила вправо, окружая каменную громадину. Велосипед набирал скорость, и Павлик уже давно хотел тормозить, но каким-то образом потерялась под ногой педаль, и тут же – другая. Он опустил голову, отыскивая взглядом педали: да, вот они! Павлик давит на тормоза... Поздно! Не вписавшись в спасительный поворот, велосипедист на полной скорости врезался в угол каменной коробки – был глухой удар вместе с железным хрустом; и тишина. Но в голове у Павлика гудело, на ноги вставал тяжело. Велосипед, ещё пол-

минуты назад сверкающий на солнце свежей краской, с блестящими колёсами и рулём, лежал на земле искорёженный, совсем не похожий на тот, которому радовался сосед Аркадьич.

У Павлика внутри всё как оборвалось, силы сразу истаяли, в голове по-прежнему гудело. Всё б ничего, но сильно болели правое плечо и рука, боль прожигала правое ухо; а на щеке, от мочки – вниз, красной соплёй прилипла кровь, которую он мог увидеть, если бы только посмотрел на себя со стороны или в зеркало.

И всплыли в памяти слова матери о непослушании, о Божечке, который каждый день подглядывал за ним из-за цветастой занавесочки в углу. «Ну, вот и всё, – обречённо подумал Павлик, – наверно, оторвал...». Рука дёрнулась туда сама: ухо было на месте! С большим трудом поднял он с земли что-то железное, формами и блеском всё-таки напоминающее вышедшему из магазина Аркадьичу его недавнюю радость.

А дома всё повторилось точь-в-точь, как в том злополучном случае с радиолой: отцовских пряников Павлик не увидит долго; мать хотя и грозилась ему добавить ещё, но не добавила, видя, как плохо сидеть ему на скамейке после отцовского урока. А спустя много лет, Павлик признается сам себе, что самым главным уроком для него был материнский, но и отцовский, в тоже время, был по-своему хорош.

Что такое жизнь человека, он особо не задумывался; и не только в свои школьные годы, но и позднее, когда учителя впервые проводили его за порог школы по-хорошему: со свидетельством о её окончании, а равно и

с чувством облегчения, словно выполнили какую-то важную и непомерно тяжёлую работу.

Он жил обычной жизнью человека: спал, ел, ходил в школу, в чём-то помогал родителям, а в чём-то – нет, много шкодил, за что неизменно страдал, – и это была его жизнь. А если бы он позднее стал философом, то своим действиям и поступкам нашёл бы самое простое объяснение: мол, это его состояние как отдельной личности, обусловленное питанием и усвоением пищи; и в этом царстве природы она требует от человека произвольного движения и чувств – на то он и царь. В высшем значении этого слова: жизнь его – бытие, где есть душа и тело; и от рождения до смерти, то есть на отрезке всего земного существования, быт, деяния, похождения и поступки будут для него как нечто обязательное – на то он и человек и, в то же время, царь.

Прозвище это прилипло к Павлику напрочь, и можно было говорить, что оно ему подходило. В кругу школьных друзей с ним считались, если говорить точнее, Павлик сам их заставлял к себе так относиться, отстаивая это право то ли кулаками, то ли недобрым колючим взглядом или словом – не ругательным, но редким, которые заимствовал из прочитанных им книг. Ребята постарше могли его обидеть, но этот неписанный закон жизни был не для него одного.

Так и шёл Павлик по жизни своей ухабистой дорогой; и в семье привыкли к его чудачествам, но со временем, уже за порогом школы, сами того не замечая, как бы стали от них отвыкать – то ли их у Павлика стало меньше, то ли в вечерних новостях родного дома они

по какой-то причине обозначены не были. Занятый своим валяльным делом, отец вообще самоустранился от всего, что его окружало за стенами дома: шлёп да шлёп около печки и вокруг стола, за печкой, и редко когда не под хмельком. Мать примечала всё, и слухи о каких-то его шалостях до неё долетали, но их было так мало, что в душе она была довольна. «Вот и повзрослел, – думала она, – остепенился; может, путное что-то из него и получится». Знать бы ей, сердобольной, что время внесёт в жизнь их семьи большие поправки, и материнские надежды всё-таки оправдаются; и самое главное: об этом она никогда не узнает.

4

Время безжалостно по отношению к людям: плохо ли, хорошо живётся человеку – оно на месте не стоит. Глянешь: а год уже позади, хотя ещё как бы совсем недавно ты жил радостью предвкушения встречи с ним. Это значит: одним годом в запасе у тебя меньше. А жизнь торопит, она, как учитель, подсказывает не отставать от времени, шагать в ногу.

Ко времени окончания Павликом школы все старшие дети родительский дом покинули и жили своими семьями – кто где. Дочь после средней школы стала золотой медалисткой, пединститут закончила с красным дипломом и там же продолжала осваивать филологические науки на аспирантуре. Брат, который был годом моложе сестры, выучился на ветврача и работал в дальнем колхозе. Известия о их смерти пришли также с

дистанцией в один год, и мать пересилить свалившееся на неё горе не смогла – заболела неизлечимой болезнью и умерла.

А Павлик от жизни не отставал: после школы успел немного поработать в колхозе, потом учился в автошколе, чтобы через три месяца положить в карман шофёрские права, и вот уже почти год, как служил в армии. На похороны его вызвали телеграммой, и командир части сразу же предоставил ему краткосрочный отпуск. Поезд пришёл на станцию поздним вечером; и пока он добирался до дома – по потёмкам, по весенней раскисшей дороге, всё вспоминал всякую всячину из своей жизни вместе с матерью: как она оттирала ему цыпки на ногах и как поила парным молоком, с хлебом, приговаривая, что с ним вкуснее и сытнее; как ругала, когда он безобразничал, и всё грозилась тряпкой: мол, сейчас получишь от меня. Наверно, мать одна и понимала его беспокойную душу, а потому прощала многое из того, что успевал сын начудить с утра до вечера.

Через полтора часа Павлик был уже дома, брат Николай с женой Юлькой приехали ещё днём. На другой день к назначенному часу проводить её собрался и деревенский народ. Гроб несли от дома на руках; до кладбища рукой подать, но за деревней погрузили его в кузов старенькой машины, и жидкая похоронная процессия убыстрила шаг, чтобы за ней попевать.

– Самые годы жить бы да жить, – услышал Павлик за спиной негромкий голос, переходящий в шёпот. – Ведь только сорок пять ей исполнилось.

И другой голос, всё такой же тихий:

– А попробуй пережить такое горе: двух детей похоронила. Для родителей это удар, да ещё какой.

– А сам-то, гляди, ничего – хоть жени.

– У этого не заржавеет, не смотри, что ходит плохо.

Деревня – она и есть деревня, где каждый на виду, как на ладони; она всегда всё знает, и даже наперёд, и как бы ты ни прятался от посторонних глаз, всё равно проявишься в её свете – не сегодня, так на другой день.

И ещё послышалось ему: кто-то позвал его по имени, и тоже шёпотом:

– Павлик.

И тут же тронули за рукав. Павлик обернулся на голос: позади него на полшага и чуть правее шла Алька.

– Павлик, – повторила она всё также тихо, – я болезнью всем вам. Жалко тётю Аришу.

Он кивнул в Алькину сторону головой, как бы согласно принимая всё, что от неё услышал. А потом они шли за гробом рядом, думая каждый о своём и, наверно, об одном и том же – о чём-то другом думать им было просто нельзя, потому что перед уходом в армию Павлик с Алькой какое-то время дружили. Она была не местная – семья их переехала из Мариуполя; и получилось так, что из всех ребят, которые вились вокруг неё, как спутники, она выбрала именно его. Черноволосая, с чёлкой до бровей и строгими чертами лица, из которых более всего выделялись выразительные карие глаза – в них, как в весенних лужах небо с облаками, отражалось её душевное состояние: радости или печали, гнева, мечтательности или ещё чего-то, до

некоторых пор покрытого тайной. Павлик ей, наверно, нравился: она провожала его в армию, и в глазах её было столько грусти, что Павлику самому впору было расплакаться. Но она ему ответила сразу всего на три письма, потом – с задержками; а в последнем, самом коротком, сообщила, что выходит замуж. «Царь, ты не первый и не последним будешь в нашей роте, – успокаивали его сослуживцы, которым он открылся о причине своей печали. – Нас таких, отвергнутых, уже десятка полтора». И дали совет: мол, три к носу – всё пройдёт.

Но проходили недели, месяцы, а чувство уязвлённого самолюбия, что ли, потери чего-то дорогого для него не проходило; если же и были в душе его какие-то перемены, то Павлик этого совсем не замечал, словно жил ещё в прошедшем времени. Но как же он хотел стоять с Алькой рядом, держать в своих больших ладонях её тонкие пальцы, с крашеными ногтями, и смотреть, смотреть в глаза: в такие минуты он всегда видел, как в их глубине зажигаются радостные огоньки. И вот она рядом; но в глазах её он уже не видит тех радостных огоньков, в них – печаль, а значит, и сердце её безрадостно. «Даже моему приезду не обрадовалась», – подумалось Павлику; и от думки этой ещё горше сделалось у него на душе, словно к потере матери прибавилась ещё одна потеря, не менее дорогая.

Они шли за гробом рядом. Алька вздыхала, шмыгала носом в платочек, и Павлику начинало казаться, что это идут они не в реальном времени, а в недавнем прошлом, когда она провожала его в армию, и ещё дальше, где им было всегда хорошо и не было этих потерь. Павлик

всё чаще и чаще поглядывал в её сторону: Алька была всё такая же стройная, чёлка почти до бровей, только нос как бы чуть заострился и на стянутых губах, – непонятно: отчего? – налёт то ли жёсткости, то ли ещё чего-то сурового, не свойственного её внешнему облику, как и небольшой синий пяточок возле левого глаза, ею старательно припудренный.

В своём последнем письме она написала коротко и ясно: не осуждай, я полюбила другого и выхожу замуж. Он смотрел отупело на письмо и никак не хотел верить тому, что прочитал. Он мог бы подумать, что это первоапрельская шутка, но стояла погожая осень, и его, одиноко сидящего на скамейке возле казармы, щедро осыпали берёзы уже ненужной им листвой. Тогда Павлик молча проглотил эту горькую пилюлю от любимой девушки, но ещё долго не мог поверить свершившемуся. В голове никак не укладывалось: ещё совсем недавно ему говорила, что он для неё самый хороший, что жить без него не может, и вот...

С кладбища они также уходили вместе, но откровенный разговор никак не получался: в Алькиных словах сквозила какая-то неловкость – по всему она чувствовала себя виноватой за разорванные отношения; Павлик считал, что прошлое не вернуть, оно безвозвратно, да и не время, хотя сердечко его всё же ворохнулось при виде её, потому и поглядывал в её сторону. Алька это почувствовала и осмелела.

– Павлик, ты, может, меня простишь, что я так с тобой поступила, – негромко сказала она, выбрав момент, когда следом идущие чуть приотстали.

Ответил не сразу – помедлил, как бы обдумывая, что сказать, и так же тихо:

– Не знаю, – и через паузу: – Но пока не собирался.

На Альку не глядел, а потому не видел, как дрогнули её брови, на секунду-другую закрылись глаза, словно острая боль пронзила её стройное тело; а заговорила – голос сделался хриплым, с нотками жалости.

– Павлик, ну, прости... Ну, дай мне шансик, всего один, Павлик.

Говорила и смотрела на него; а в словах и во взгляде её было столько жалости и мольбы, что, будь они не здесь, а где-нибудь в другом месте, одни-одинёшеньки, Павлик упал бы перед ней на колени и простил, потому что ещё не успел разлюбить. Но рядом шли люди, и Алька ждала ответа. Он пересилил себя – ответил, но через небольшую паузу:

– Ладно, считай, что так и есть. Остальное – потом.

И посмотрел на Альку: лицо её посветлело, и можно было думать, что свет этот пробился от самого сердца; на светлом фоне лица ещё сильнее проявился синий пяточок.

– Это кто тебя целует крепко так? – спросил он.

Услышав вопрос, Алька сморщилась: очевидно, разговор о синячке был не приятен; но его не замолчала:

– Муж на днях. Ни за что ни про что – хлоп... Ревнует с первого дня, к каждому столбу.

– И как же вы теперь?

– А никак, ушла к матери, с мальцом.

Кладбище в полутора верстах от деревни, и они не заметили, как быстро дошли до дома. Алькина мать

жила недалеко, считай, по соседству, а в деревне всех соседей всегда приглашали усопшего помянуть – добрым словом и рюмкой вина или водки. За несколько лет до этого печального события отец как-то сумел построить новый домишко, взамен тому, что сдарили сразу по приезду сюда, и он вместил всех пришедших с кладбища. За столами, расставленными в большой комнате в два ряда, говорили, выпивали, не чокаясь, закусывали и снова наливали и говорили. И в течение этого грустного застолья Павлик и Алька всё чаще и чаще поглядывали друг на друга, тем более что делать это было им легко и открыто: они сидели за одним столом, глаза в глаза.

Эти семь отпускных дней, которые определили Павлику в части, были для него как сон: пролетели быстро, потерю родного человека оплакал и в тоже время нашёл, что когда-то им было потеряно, как он уже начинал думать, безвозвратно, – Альку. Иногда он даже ожесточался по отношению к ней, считая её поступок явным предательством. А как думать иначе, если на всё самое хорошее, что было между ними, она поставила жирный крест, посчитав, что с другим человеком жить ей будет гораздо легче и проще? А ведь их отношения были безоблачными, без каких-либо размолвок и недоразумений; и оба они как бы свыклись уже с мыслью, что по жизни дальше пойдут вместе. Так думала и покойная мать: привечая Альку, она прикидывала, какой жизнью они заживут, иногда давала советы, предполагая, что в семейной жизни они молодым пригодятся. Но всё это было там, позади; а теперь в

отцовском доме пусто и одиноко: не стало матери, брат Николай с женой Юлькой уехали, отец что-то ладит в сарае; и Альки нет. Но она недалеко. Судить по её словам, Алька тянется к нему всей своей душой, наверно, тоже страдавшей. Все эти семь дней она приходила к нему и помогала делать по дому то, что делала бы в этом доме мать: мыла посуду и полы, протирала столы и лавки, простирнула рушники, также припачканные во время поминок. Павлик не знал, что бы он делал во время отпуска, не окажись здесь Альки, и теперь он от неё не отходил, словно был привязан тонкой ниткой – в сторону ни на шаг, иначе оборвёшь.

Отец косился на них, но помалкивал, понимая, что сегодняшние их встречи – это отголосок их прежней жизни, от которой они ушли, но забыть её напрочь не в силах. Хозяин дома шлёпал из комнаты в комнату, гремя вёдрами, отправлялся на двор кормить живность, а потом вообще уходил из дома в направлении магазина и приходил только к вечеру. Уже на другой день ему с Алькой было легко и просто; вели разговоры на местные темы: кто из ровесников куда уехал и где учится или работает, кто женился или вышел замуж; а ещё вспоминали дни, когда вот также проводили время вместе. Они, эти разговоры, как бы заглушали боль утраты, и Павлик был велико доволен, что Алька рядом с ним. Но подолгу она в доме не задерживалась: у неё уже был ребёнок, мальчик, которого ещё кормила грудью и, уходя к Павлику, оставляла на попечение матери. «Так, всё, – говорила она, – я побежала. Не надолго: покормлю, посмотрю, кое-что поделаю...

Я быстро». Как быстро говорила – так быстро уходила и быстро приходила; и тем волнительней было Павлику, когда под окнами мелькал её сиреневый платок и через секунды хлопала входная дверь.

Да, эти дни были для Павлика как сладкий сон, а сны, как известно, бесконечными не бывают. На станцию он ушёл в сумерках, чтобы успеть взять билет до Москвы на курский фирменный «Соловей». Дорога от деревни – по мостку через ручей, затем лугом, с выходом на просёлок. Светила неполная луна; было свежо и тихо, лишь впереди время от времени вскрикивала какая-то птица – то ли радовалась наступающей ночи, то ли пугалась призрачной темноты и неосторожных шагов человека. После зимних холодов и, как говорили, буйного половодья природа блаженствовала, она отдыхала в ожидании грядущих аномалий.

Как и неделей раньше, когда приехал и шёл в ночи со станции домой, ему хорошо думалось. Павлик мысленно прокручивал события своего краткосрочного отпуска – картины всплывали перед глазами без команды, сами по себе. Вот растерянный, не совсем чисто выбритый отец; брат с женой Юлькой – она в чёрном платке, заплаканные глаза; печальные лица соседей; и крик Нюси Корольковой, штатной деревенской плакальщицы, не пропустившей ни одних похорон и успевшей отметить на этих: запричитала во весь голос – жалостливо, с подвывом, – так умела скорбеть по усопшим только она. И дрогнули сердца, наверно, у всех, кто шёл за гробом. А плач её неожиданно прекратился: Нюся взяла перерыв. «Хорошо я плачу? –

спросила она у идущих рядом с ней. Те, видимо, хорошо знали Нюськины причуды и успокоили: мол, хорошо, хорошо, но только потише бы, а то оглушишь. Нюся не обиделась, но совету последовала.

Павлик видит похоронную процессию как бы со стороны: не особо длинная, но уже без душераздирающего крика о потере, словно то, что происходит, – само собой разумеющееся, обычное на этом краю деревни. Он с Алькой идут за гробом... Потом сидят за столом. А вот их томные взгляды, наполненные тайнами ожидания встреч наедине. А дальше уже сами встречи, от которых жаром охватывало тело и дыхание сбивалось с обычного ритма, а в ушах – шёпот со словами, которые он когда-то слышал...

Словно в зрительном зале, в казарме и на полигоне, в столовой и в кабине своей машины он будет прокручивать эту киноленту, наверно, тысячи раз; и она, в отличие от настоящей чёрно-белой, пахнущей ацетоном и ещё какими-то, присущими ей, запахами, не износится, а, наоборот, по прошествии времени превратится в цветную. Смотри, смотри, Павлик, скрашивай свои солдатские будни, подогревай себя радостью встреч и жарких поцелуев; это ничего, что всё осталось позади, – жизнь продолжается, и они у тебя ещё будут.

5

Утро давало о себе знать: на тракторной базе гремели железом, урчали моторы; рядом с приоткрытым окном надрывался петух, – наверно, устраивал по-

следнюю побудку, для самых ленивых. Прогромыхала железными колёсами по неровной бетонке подвода – молокосборщик Митрофан возвращался из похода по деревням. Солнце в окно – наискосок, высветило противоположную стену, на которой в четырёхугольной рамке, под стеклом, семейные реликвии: в верхнем ряду фотокарточка матери, слева и справа – брата и сестры.

Павлик проснулся, но с постели не сразу: ещё полежал, понежился – хорошо! На дальнем окне такают ходики: так-так, так-так, так-так. О чём это они? Итожат его дела? Да ещё таким одобрительным тоном, мол, так и надо, молодой человек, так, так и не иначе! А что такого он сделал? Ну, собрался расстаться с колхозом. Когда пришёл из армии, долго не раздумывал, куда податься: в колхоз – права-то в кармане. И машину сразу дали... Ох и часики! Они и тогда одобрительно отнеслись к его выбору: так, так, молодой человек, поддерживали они, трудись на благо родного колхоза. Он и трудится. Пока. Каждый день, без выходных и проходных, уже рано утром на базе, где все колхозные автомашины в рядок. Похозяйничает под капотом, смажет-заправит, потом путёвку в зубы – и порулил, загремел железным кузовом по округе. В дальние рейсы не ходок: машина старенькая, а туда занаряжали, у кого машины поновей, значит, понадёжней. Но ему и по местности было неплохо: час-другой всегда мог выкроить на своё личное, и опять же с существенной поправкой: его личное было не только его личным, но и Алькиным.

Всё верно: Павлик благополучно отслужил положенное и после приказа пришёл домой всё той же

дорогой; в руках небольшой чемоданчик с пожитками, в кармане грели сердце Алькины письма – после похорон матери и его отъезда в часть они приходили регулярно, за редким исключением. Павлик перечитывал их по несколько раз, с большой радостью; и всё чаще и чаще думал о том, что они всё-таки будут жить вместе, и по-другому никак нельзя. От мужа она ушла и живёт у матери; да и какая с ним жизнь, если поднимает на неё руку?

Но по приезду домой отец его огорошил: Алька вернулась к мужу, родила второго ребёнка. Этой новостью Павлик был убит: «А как же письма? – негодуя в душе, задавался он вопросом. – Зачем так жестоко издеваться над человеком, который тебя любит?»

Алька прибежала к нему домой уже на другой день – весёлая, раскрасневшаяся и, судить по глазам, счастливая: они светились. И сразу повисла у него на шее, Павлик даже не успел опомниться.

– Миленький, – захлёбывалась она от прихлынувшей радости, – дождалась... Я детишек оставила у матери, а сама бегом, бегом...

Павлик молчал. Радость была и у него, но только где-то глубоко внутри, зажатая, как тисками, словами отца, поспешившего, наверно, с умыслом, их выложить. Она почувствовала: от него тянуло холодом; подняла голову, посмотрела ему в глаза:

– Павлик, в чём дело?

Павлик был уже не тот Павлик, что терроризировал учителей и директора и мог оставить без ответа их вопросы, и родителей тоже: он научился говорить людям

правду, какая бы она не была горькая, при этом считая, что так жить легче и лучше.

– Мне сказали, ты вернулась к мужу.

– Да, – не отстраняясь от него, ответила она.

– А как же письма? – спросил он.

– Павлик, в них всё верно, – сказала она, – я твоя, а не его.

– Но ты же опять вернулась к нему.

– Да, вернулась; а что бы мне делать, если узнала, что я беременная? Я и матери рассказала, что под сердцем у меня твоё дитё. Павлик, милый, – и она ещё теснее прижалась к нему, говорила шепотом и на ушко, – милый, я ушла от людского пересуда, от разговоров, можно сказать, испугалась; но ты знай: ребёночек твой, – и поправилась: – Наш ребёночек, наш, и об этом теперь, кроме матери и меня, знаешь только ты.

Она уронила голову ему на грудь, по щекам потекли обильные слёзы, и всхлипнула.

– Решай сам, как у нас дальше будет, – сказала сквозь слёзы; но от него не отстранилась, и тело её в ожидании ответа оставалось в напряжении.

– Алька, радость моя, ведь живу я тобой, – после недолгого молчания заговорил Павлик. – Я-то думал, что мы будем жить вместе. Ты опередила меня, ты сама решила нашу судьбу; но душа моя протестует, я знаю, что ты моя...

Павлик вспомнил это – и лежать в кровати ему расхотелось. Последовал совету петуха: натянул на себя штаны и рубаху, по-солдатски быстро застелил кровать, потом пошире растворил окно. В лицо – прохлада утра.

Сразу за Марфушкиным огородом, над лугом, туман ключьями – отходит в низовье, где и растворится в лозняках, словно задумав загодя запрятаться от зноя. За речкой, по берегу, рассыпалось колхозное стадо, и ветерок доносит оттуда крики пастухов, его собирающих, – они во всё горло блякают и хлопают кнутами. «Эх-ма», – потянувшись во весь свой рост, выдохнул Павлик, – деревня работает, а он отлёживается. Царская жизнь».

Но Павлик сам себе не завидовал. Чему завидовать, если вчера оступился, и в медпункте сказали, что у него вывих. Теперь вот дома. «Так, так», – подтвердили часы, словно свидетель, которому был известен каждый его шаг. Многие могли бы рассказать они человеку, понимающему их железный язык, но пока такого человека не нашлось; и только один Павлик без переводчика разбирал его речь, равнодушную и ровную, без каких-либо эмоциональных всплесков. Вот и сейчас пристально наблюдают часы за ним и одновременно рассказывают, как он по приезду объяснялся с Алькой: вытирал ей сладко-солёные слёзы, успокаивая, как ребёнка, гладил её по голове; и от слов его уже не веяло холодом, и взгляд уже нельзя было назвать осуждающим: он тоже потеплел. «Да, так, так и было, – подтвердил свидетельские показания Павлик, – всё видят, злодеи, всё знают».

Вопреки всему, что делает жизнь человека безрадостной, в тот день они расстались тепло; и такой Алька уходила от Павлика каждый раз. Всё они прояснили, и все острые вопросы сами по себе отпали, кроме одного,

самого главного для Павлика: как устраивать ему свою жизнь дальше? У Альки есть семья; отец по-прежнему на них косится: мол, пора кончать чудить, а то люди смеяться будут, могут быть и неприятности. Да и сам он, как понял Павлик, вдовствовать не собирается и тоже начал чудить: глянет Павлик, – а след его уже простыл, и надолго. Где проводит время и с кем – не знал, пока не прояснила Алька: мать якобы ей сказала, у Дуськи Астаховой. А ему задерживаться не у кого: до армии всё с Алькой да с Алькой. Другие невесты на него вроде и не смотрели, во всяком случае, своими вредными привычками в стенах школы он так прославился, что слава эта отпугивала их и после школы, и её хватило даже до армии. Теперь вот снова он с Алькой и не в силах оторваться от неё; но ведь так не может продолжаться вечно. И отец уже напоминал не единожды, как бы зондировал почву: женись да женись, мол, жена тебе нужна дома, а не где-то, причём хорошая. И даже поговорку озвучил при этом: «Павлик, добрая жена дом сбережёт, а плохая рукавом растрясёт, так что выбирай себе девку, да не промахнись. Хотя скажу тебе: это раньше говорили, что, мол, жена – не лапоть, с ноги не скинешь. Сегодня лаптей нет, и всё по-другому: не успели свадьбу сыграть – уже бегут с заявлением на развод, а то и совсем без росписи и без свадьбы обходятся. А мне, Павлик, хочется тебя оженить, но не так. Вон Колька живёт, и молодец: правильной жизнью. Хотя, скажу тебе, мужики – они по природе своей чудаки, не все, конечно».

На трезвую разговоры такие отец заводил нечасто, но если был «под мухой», непременно превращался в

философа. «Я, Павлик, много чего повидал в жизни, в разных семьях бывал, – рассуждал он. – А чудачки – они и есть чудачки, для них жена мила бывает дважды: когда в дом впервые введут и когда вперёд ногами понесут; а в остальном времени я им не завидую». Отец всегда садился на край скамейки или на табуретку, сидел прямо и говорил, говорил. В какие-то минуты своего откровения он мог заплакать, мог, с трудом выговаривая слова, заскрипеть зубами, а это означало, что к эпизодам своей жизни и людям, их населяющим, он был всё ещё не равнодушен. На хорошем подпитии и приморившись в разговоре, он мог тут же заснуть, сидя также прямо, и не упасть.

Смерть жены для него была настолько неожиданной, что во время похорон и ещё долго после них он выглядел каким-то растерянным, стал больше пить, а его валяльный цех по этой причине как бы приглож: волну ему люди приносили и он её брал; но руки его уже не так часто держали готовые валенки, выделанные из неё, – это когда нужны были деньги на магазин, а так волна оставалась лежать в мешках за печкой, съедаемая молью.

Павлик слушал отца, а сам думал, что вот пооткровенничает он, попечалится о людях, задёранных работой и какими-то проблемами, но о себе, о своей жизни так и не расскажет, какая у него она была, у молодого; и не откроется, где пропадает, уходя из дома теперь, – так, будучи школьником, пропадал и Павлик: убежит, бывало, – и до вечера как ветер. Спросят: где был? Да везде, – и весь сказ. Но однажды взял да и

спросил, когда в очередной раз отец уселся перед ним и задымил сигаретой. «Павлик, а где я бываю, – и пожал плечами. – В магазин зайду, за магазином в теньке посидим. Пойду на базу с мужиками поговорить – там посижу. Пока туда-оттуда дошлёпаю – день прошёл, и надо по дому убираться». Отец лукавенько ушёл от вопроса, не признался: как Алька к нему домой, так и он заглядывает к Астаховой Дуське, ладной и красивой бабёнке, оставшейся без мужа после несчастного случая с ним. Не сказал – и ладно.

Павлик продолжал шоферить в колхозе; отец всё по дому да по дому, а на лето – в сторожа на зерноток. Узнай кто-нибудь, за что Андрею Романову в своё время приварили срок и какая у него работа сегодня – только посмеялись бы и не поверили. Но что есть – то и есть. А однажды Павлик пришёл с работы и не поверил своим глазам: за столом рядом с отцом сидела Астахова Дуська. Они то ли собирались ужинать, то ли просто сидели и разговаривали, по всему ожидая его. На столе стояли тарелки с едой, бутылка водки, уже распечатанная, и три стакана.

Павлик поздоровался, повесил на гвоздь, возле двери, пиджак.

– Ну, что, сын, иди к нам: тебя ждём, – вставая за столом, сказал отец.

Дуська тоже встала – он хорошо знал её; а в день похорон поминальное застолье было делом Дуськиных рук.

– Я сейчас, – сказал Павлик.

Он взял полотенце, сходил к умывальнику, что висел

на изгороди, недалеко от порога, чтобы смыть с лица дневную пыль и при этом пофыркать от удовольствия. Он уже обо всём догадался: отец привёл в дом новую хозяйку... Или задумал привести?

– Ты уже, наверно, догадался, чего это мы тут с Дуськой расселись, – сказал отец, когда Павлик возвратился к ним и сел за стол. – Зазорного в этом ничего нет. И Аринка умирала и наказывала мне, чтобы я один не оставался, мол, пропаду. А вдвоём с Дуськой нам легче будет строить жизнь.

Отец говорил, а на лице его не читалось, что испытывал он в эти минуты, когда, можно было предполагать, решалась судьба их дальнейших взаимоотношений: одобрит ли сын? И как ему надо будет поступить, если Павлик воспротивится, чтобы эта женщина в их доме была не гостьей, а хозяйкой?

– Я, отец, в этом деле тебе никаких советов давать не могу. Ты – мой отец, и лучше меня знаешь, что тебе делать. Решил – значит, решил, так и поступай, а дальше видно будет, – сказал Павлик; и тут же добавил: – А вообще, вам скоро придётся жить вдвоём: надумал я податься в город. В понедельник надо будет ещё проехать туда и уточнить.

– Что так? – спросил отец. – Работа у тебя вроде не плохая, спину особо не ломаешь.

– Это смотреть со стороны, – не согласился Павлик. – На самом деле с утра до вечера, целый день, за рулём; а сколько под машиной лежишь: то сломалось, это сломалось. Месяц отпашешь – зарплата ниже некуда, да и та не сразу.

– Павлик, все люди у нас так получают и ничего – живут.

– Я так не хочу.

– А как, по-царски хочешь? – спросил отец, не подозревая, что напомнил Павлику его фамилию и, конечно, настоящее имя. – Как царствующая особа Николай Романов? Ты крестьянского роду-племени и довольствуйся этим положением в обществе. Хочешь жить лучше – строй своё благополучие за счёт ещё какого-нибудь дела. Я вот как-то упустил своё дело с валенками и сразу почувствовал нехватку денег. Займись и ты, научу тебя, и будешь доволен: допустим, зимой ночи вон какие длинные, а работы в колхозе мало, так что, всю зиму спать, как медведь-лежебока? Э, милый, если по столько спать, кобель в хомуте приснится. А заботливому сон не в сон, потому что человека он не богатит; но приработок-то всегда должен быть.

Наверно, отец был прав: он старательно примеривал своё валяльное дело и к нему; но Павлику оно не нравилось.

– Нет, – решительно сказал он, – в город. Я уже договорился: в электросетях шофёр нужен.

Отец ему перечить не стал.

– Тебе жить, – заключил он. Дальше была пауза, которая говорила о том, что эта тема разговора не ко времени. Затем продолжил: – Ну и хорошо, что не против, чтобы мы с Дуськой сошлись. За это давай по рюмочке и выпьем.

Они ещё долго сидели за столом – отец с Дуськой рядом, Павлик напротив. И сколько потом он ни

прикидывал, всё-таки никак не мог себе представить их рядом на семейном портрете: с матерью – да, вот они, на стене, направо, а их – нет. Себя с Алькой представлял.

6

В понедельник Павлик в город не уехал: ещё в потёмках раздался стук в окно; проснулся отец, вышел, через минуту зашёл в дом и разбудил Павлика: пришёл Седов Петруха, по прозвищу Рыбнадзор, – Алькин муж, и просит срочно отвезти жену с ребёнком в больницу, так как мальчонка сильно заболел; а больше некому: у кого-то машина на ремонте, кто-то после ночной пьянки не проспался, до кого-то далеко бежать. На лето водителям разрешали ставить машины возле дома, и Павликова стояла за углом. Быстро оделся и – в кабину, Петруха рядом; а через считанные минуты он с Алькой и мальцом уже мчался по просёлку в город. Мальчонка плакал, Алька тетёшкала его на руках, стараясь успокоить. Павлик начинал переживать: не случилось бы чего в дороге с малышом, и скорость держал приличную. До города рукой подать, и вот уже машина замерла у ворот больницы. Он помог Альке выбраться из кабины, взял с сиденья её сумку с вещами и проводил до дверей приёмного отделения. «Дальше я сама, – забирая у него сумку, сказала она. – Проведать приедешь».

В дороге им поговорить не пришлось: не та обстановка. Хотя на протяжении этих двух лет, как Павлик

пришёл из армии, они находили место и время, чтобы порадовать друг друга в уединении, обговорить многое из того, что их в какой-то мере касалось; да и вообще, мало ли о чём могут разговаривать два человека, которые уже много лет любили друг друга и не представляли себе, как это так можно им жить и не общаться. От Альки же узнал он правду её семейной жизни.

Петруха Рыбнадзор в деревне был парнем видным, слегка нагловатым, но и в такую же меру трусливым. Сверстники уже давно забыли его настоящее имя, чуть что: Рыбнадзор да Рыбнадзор. Чудное имя для мужика, и откуда произошло – не каждый знает. Спросить у местных знатоков – те подтвердят: конечно, редкое, И тут же поведают историю о том, как два молодых парня, при хорошем подпитии, шли мимо пруда, на плотине которого сидели с удочками приезжие рыбаки. Ну, и решили перед ними покуражиться: Вот Петруха и наехал на одного из них, на крайнего:

– А чего это вы уселись тут, прямо на дороге, ни пройти ни проехать; да ещё с орудиями лова, которыми ловить запрещено? И рыбу здесь можно ловить только за плату: сто рублей за час. Я засёк: сидите второй час, вас пятеро, так что с вас пятьсот рублей.

Рыбак возмутился, после чего получил от Петрухи хорошую плюху, а удочки полетели в воду.

– Ты кто такой? – угрожающе надвинулись на Петруху другие рыбаки.

Петруха тухнул, но не растерялся:

– Я рыбнадзор, – и ещё припугнул: – Будете шуметь – повяжу.

Деньги, конечно, они не получили; а уже наутро Петруху разыскал участковый уполномоченный. Говорят, когда приехал в деревню, спрашивал у людей: где тут живёт Рыбнадзор? А потом Петруха на несколько дней из деревни пропал, словно ушёл в подполье. Прошёл слух, что видели его в городе, подметал тротуары. По приезду вместо Петрухи стал ходить на работу Рыбнадзор. Как получилось, что она вышла за него замуж, Алька так и не смогла понять. С Павликом до армии задружила, что не разлить водой; и все парни знали и не пытались как-то им помешать. А ушёл он в армию – сразу стали к ней пробиваться: то один предложит проводить, то другой, но варианты не проходили. А Петруха не предлагал проводить, а просто шёл с ней до дома и шёл: идти-то одной дорогой, ему только чуток подальше. И так подгадывал, что ходили вместе и в дом культуры, и домой. Петруха в армии уже отслужил и работал в колхозе электросварщиком. Алька отучилась в профтехучилище на повара, но работать никуда не уехала – то нездоровилось матери, то не захотела уезжать от Павлика; и получилось, что сама обстановка способствовала их сближению. А наглая Петрухина натура делала своё поганое дело: работала на их сближение.

Сначала он ходил вокруг Альки кругами, как бы закручивал по спирали, и всё шутил: мол, в её сердце – огонёк его электросварки, мол, захотел вот – и зажжёт. Она смеялась: дурак, мол, не дурак – не поймёшь, мелет всякую чушь; и как-то не заметила, что им становится всё проще и проще общаться, что с каждым прожитым

днём начинают понимать они друг друга с полуслова. Однажды Петруха приобнял её маленько, когда в ночной темени шли, окружая осенние лужи. Он сделал вид, что спасает её от воды; но она правильно его поняла и всё-таки не отстранилась. Наверно, очень захотела, чтобы её обняли крепкие мужские руки, стиснули и не отпускали, пока не перестанет сильно биться сердце и не задышится легко. Это случится позднее, на одной из вечеринок у подруги: после продолжительного застолья, когда уже все были под хмельком, Петруха увёл её в дальнюю тёмную боковушку с кроватью, стиснул, как она и хотела, придавил её жаркое тело и не отпустил, пока руки его сами не ослабли на её груди.

На другой день она ходила по дому как напуганная, – ей казалось, что мать видит её насквозь: как стыдливо одёргивает укороченную юбку, поспешно отводит в сторону глаза, словно в них, как в зеркале, можно увидеть отражение вчерашнего вечера и её дочь, уединившуюся с Петрухой в тёмной боковушке. Наверно, мать всё поняла – и сверкнули недобрым светом её глаза, и голос сделался жёстким, когда проходила мимо неё, сидящей у окна, и сказала:

– Что, плохо? Меньше по ночам шляться будешь.

Это Алька поняла и без матери. Теперь она каждый день садилась у окна и перебирала в памяти все свои походушки с Петрухой; и ей было так неприятно, словно она испачкалась во что-то липкое, а отмыться не знает чем. Это было самое страшное, чего она почему-то не смогла предугадать, даже в сравнении с тем, что почти перестала писать письма Павлику.

«Мамочка, мамочка, – мысленно повторяла она, словно откровенничала с матерью, – что я теперь ему напишу? Обманывать-то не умею, а правду написать не могу. Но ведь я его люблю, и никого кроме... А что я ему скажу, когда он приедет?..»

Целую неделю она не отходила от дома. Посмотрит в окно: никого нет – и на улицу; кто-то идёт – бегом через порог. Потом осмелела; но когда за калиткой столкнулась с Петрухой – растерялась; а он нагло улыбался и шёл к ней, всем своим видом показывая, что всё нормально, как и должно быть. «Идиот», – сказала тогда она ему и плюнула в его наглую рожу, и не один раз: Петруха ей был противен.

Но жизнь продолжалась. Петруха её плевки отщёп ладонями и рукавом рубашки, потому что платка в карманах не оказалось. Он ещё несколько раз делал попытки приблизиться к ней всё по той же спирали, но Алька, ещё не знавшая предела своей жестокости, проявила её в полную силу. Сдалась, когда поняла, что никуда ей от Петрухи не деться, хотя огонёк его электросварки в Алькином сердце так и не вспыхнул.

Свадьба их была скорой и небольшой, для Альки она стала безрадостной, да и вся последующая их молодая жизнь не несла им обоим семейное счастье. От Петрухиной электросварки в мастерской, где было его рабочее место, искры разлетались веером; случалось, летели из Алькиных глаз, когда он приходил домой в нетрезвости и, видя, как холодно встречает его жена, приближался к ней всё по той же спирали и ставил на её лице очередную отметину. Сколько их было у неё за

то время, пока Павлик носил солдатскую форму, она не считала, но когда он приехал и увидел последнюю, Алька как очнулась: это беспредел!

Вечером Петруха пришёл домой навеселе. Дети забавлялись в дальней комнате; и, чем-то недовольный, хозяин дома пошёл нарезать вокруг неё круги – и всё по спирали, по спирали, и кулаки за спиной сжатые. Она стояла у стола, готовила ужин; предвидя, что её ожидает на последнем витке, схватила с полки длинный кухонный нож – острый, незадолго перед этим наточенный ею на мелкозернистом бруске, крепко зажала его в поднятой руке и зло, с густым замесом ненависти в словах и на лице, как выдохнула в его пьяные глаза:

– Только тронь: убью – не сейчас, так ночью.

Петруха замер на полушаге и ещё долго не мог прийти в себя: испуг ворвался в каждую клеточку его тела. Алька стояла у стола и с не меньшим испугом думала, что, опустит он в этот момент на неё свои кулаки, в порыве ненависти и страха за свою жизнь она бы рассчиталась с ним сполна за все ей нанесённые обиды.

А ночью она плохо спала. Лежала с детьми на кровати, прижимая их к себе, и думала о Павлике: что вот он какой хороший, и её любит, даже после подлянки, которую ему преподнесла, как пирог на блюде. Но ведь простил!..

Проведать её Павлик приехал только к концу недели, и то ненадолго – никак не мог вырваться: стояли погожие дни, и работы для его самосвала в колхозе было предостаточно. Но появилась возможность – и он уже у неё. А перед этим заехал в электросети, поговорил с начальником; и тот обнадёжил: машину должны скоро

получить, посадят на неё его – якобы справлялись в колхозе, что он за работник, и там сказали, что хороший. Когда придёт машина – дадут знать, а с трудовой книжкой можно приходиться хоть завтра – оформят пока монёром.

Алька его заждалась. Посидели в фойе рядышком; он передал ей пакетик сладостей и выложил кучу деревенских новостей. Она была довольна: сыночек пошёл на поправку, и он вот приехал. Прижимаясь к Павлику и чувствуя его тепло, расставаться с ним не хотела.

– Посиди ещё чуток, – попросила она, когда он уже хотел подняться, чтобы уйти.

Павлик улыбнулся: мол, чего уж там чуток, можно и больше. Посидели ещё и, счастливые, наполненные радостью от встречи, разошлись – каждый в свою сторону; и всё оглядывались, оглядывались, словно ещё хотели добавка, ещё один маленький глоток простой человеческой радости.

Павлик приезжал проведать Альку ещё несколько раз, но уже вечерами, когда заканчивался рабочий день и ему не надо было спешить. Однажды она вышла к нему с сынишкой: на её руке сидел черноглазый лупастенький мальчик.

– Твой, – сказала она Павлику, – познакомься: Иван Павлыч. – И уже к сыну: – Ваня, подай папе ручку.

Ваня подал.

– Смыслённый, – засмеялся в довольстве Павлик, – и признал сразу. Как же, родная кровь.

И маленькая Ванькина ладошка утонула в его ладони.

– Так и записала? – спросил он.

– Так и записала, – без улыбки ответила она.

Он посмотрел на неё: говорила вполне серьёзно, на лице ни улыбки; но не верилось, и глаза его широко раскрылись.

– Что, испугался? – спросила она.

– Да нет, просто удивился, как ты так смело.

– Не умирай. – улыбнулась наконец она. – По бумагам он Петрухин. Вырастет – расскажешь ему сам, чей он сын по-настоящему.

Павлик взял Ванюшку на руки, полёгал его, как бы определяя, насколько он тяжёлый, и обращаясь к нему:

– Ванька, Ванька, царский сын, а ведь ты нашего роду-племени. Меня-то с малых лет царём звали-величали, а по-настоящему я Николай – так отец записал в сельсовете; а дома стали Павликом звать, потому что брат у меня Николай, он на четыре года старше меня. Вот и получилось в семье два Николая: он – Николай первый, я – Николай второй, как в царской династии. Моё настоящее имя мало кто знает: года идут, а я, как ребёнок, всё в Павликах хожу. Буду стариком – Павликом и останусь, наверно. Но если я Николай Второй, то в нашей семейной династии ты будешь Иваном Первым.

И Павлик поднял Ванюшку над головой, закружил его то в одну сторону, то в другую, и всё приговаривал:

– Царь ты наш – батюшка, Ваше императорское величество Иван Павлыч, дай Бог тебе здоровья на все годы твоей жизни на земле, а такмо царствования твоего на семейном престоле; а грамоту с царской

твоей фамилией, и с отчеством твоим никаким послам не велено доверять, а буде вручено тебе оно однажды при большом стечении народа.

Ванька плыл по кругу, как самолёт, и счастливо улыбался. «Он и вправду счастливый», – с улыбкой подумал Павлик, – живёт и пока не понимает, что у него неофициально два отца, чего в царствующей семье никогда не было. – И вдруг как подвёл черту: – И не будет!» Дальше свои мысли высказал вслух:

– Алька, вот буду работать в городе – получу квартиру.

– Будешь работать в городе, – грустно сказала она. – А как же тогда я тебя буду видеть?

– Как всегда, – и он пожал плечами, как бы говоря, что никаких сложностей в этом деле не видит. – Пока буду ездить домой на рейсовом или ходить пешком напрямки, по хорошей погоде. Дадут квартиру – жить переберусь туда и заберу тебя от Рыбнадзора. А потом и документы на него переладим, чтобы с моей фамилией он жил, и с отчеством моим.

Алька нахмурила брови; и как понял Павлик, ей что-то не нравилось.

– Да я уже договорился, и машину новую дают, – начал объяснять ей Павлик.

Брови у Альки – настоящий барометр:

– Павлик, я не хочу, чтобы ты уезжал из деревни. Нам тут будет лучше.

– Как тут лучше, если в городе мы будем жить вместе, Ребята пойдут в детский сад. Тебе работу подыщем.

– Не хочу, – эту фразу она повторила три раза, – не хочу, не хочу. – И с каждым разом в её голосе прибавлялось жесткости: – Во всяком случае, меня такая жизнь устраивает.

Но Алька лукавила. Показывая перед ним свой каприз, она как бы испытывала его, насколько он серьёзен в своих планах и не использует ли он её в виде игрушки-забавушки. А у Павлика при этих словах с лица сошла улыбка, и тут же совершил посадку самолёт.

– Ты это серьёзно? – в недоумении спросил он.

– Нет-нет, милый, – поспешила его успокоить Алька, поняв, что в игре с ним у неё перебор, – это моя неудачная шутка. – И предложила: – Давай доживём до тех дней, а там будет видно.

Но настроение у Павлика уже испортилось – он грустнел и стал подумывать, что пора бы прибаваться к дому: завтра им рано-рано быть на кирпичном заводе; и вскоре уехал. Альку в тот вечер он так и не понял: какие могут быть шутки, если он на полном серьёзе раскрыл перед ней свои планы? Года-то идут, вон сколько их позади, как они вместе... Вместе? Нет, как бы вместе и не вместе; и к ней всё украдкой и украдкой, или она к нему. Хорошо ещё, что на машине работает: она ребятишек к матери, а сама в кабину, рядышком, – только погромыхивает кузов да пыль столбом позади. Накоротке отстоятся в какой-нибудь рощице или в посадке, порадуют друг друга – и назад. Ему-то что – холостой, кому за ним следить, а ей куда сложнее. Дело, конечно, и в Рыбнадзоре, но не настолько: он дальше стакана, наверно, скоро перестанет её замечать; зато остаться трудно незаметной

для посторонних глаз, а ведь люди, как известно, знают всё и про всех. Она понимала, что людского суда не избежать; и какой-нибудь доброжелатель шепнёт мужу, который, особо не вдаваясь в подробности, возьмёт да и приварит к глазу, или ещё к какому месту что-нибудь не очень красивое. Рыбнадзору пока ещё не шептали, просто в нём, у нетрезвого, просыпались ревностные чувства, и тогда происходило то, что происходило. Но Алька есть Алька: за все Петрухины тычки и бранные слова всегда умела отомстить по-своему: умчится с ним наедине или выберет момент и придёт к нему домой – залижет раны, и как бы легче ей тогда с Петрухой, и не такой невыносимой кажется ей жизнь.

7

Дуську Астахову отец перевёз через неделю. Попросил у молокоборщика Митрофана подводу и, особо не тревожа тишину деревенской улицы, не любившая быстрой езды Венерка за два рейса спокойненько перетянула Дуськины пожитки: большой, красиво окованный медью сундук, неизвестно чем набитый, а потому довольно тяжёлый; ещё всякую тёплую одежду, ватные одеяла и пару подушек, что-то из кухонной утвари. Мебель, кровати брать не захотели – от всего своего в доме тесно.

– Пусть стоят: Павлику пригодятся, – навешивая на дверь замок, сказал отец. – Женим, и будет жить.

Если бы Павлик слышал эти слова в свой адрес, непременно не согласился бы: зачем ты провожаешь

сына из родного дома, а вместо него приводишь чужого человека? Оставь Павлика в покое, а сам перебирайся к Дуське. Услышь отец Павликовы слова, тоже не согласился бы, сказав, что Дуська им теперь не чужая в этом доме, а хозяйка, и, надо думать, имеет с ними равные права. А Павлик снова бы не согласился: мол, на кой ляд ему Дуськина хата, если ему в городе дадут квартиру, и будет он в ней жить вместе с Алькой. Отец не хуже Павлика, тоже упрямый: ладно, живи где хочешь; но ещё раз повторю: выбрось дурь из головы, оставь чужую бабу в покое, потому что девок ещё не всех расхватали – какая на тебя глянет, на той и женись.

Но, как показало время, насчёт Дуськиного дома отец был прав, хотя, правда, и не на все сто процентов. Действительно, дела с женитьбой у Павлика обстояли неважные, невесту для себя ещё не пригадал. Когда заходит в магазин, всё та же продавщица Ольга, закрепившаяся на хлебном месте, частенько его спрашивает, и с улыбочкой хитровой:

– Павлик, ты ещё не женился?

И Павлик понимает её тонкий намёк.

Совсем маленьким пришёл он с медяками в магазин – по карманам у отца насобирали. Стал у прилавка, подал их и стоит, сопит. Продавщица Ольга – молодая, весёлая; потянулась через прилавок и погладила на голове его короткие волосёнки; а на руки его глянула – и куда её весёлость делась. Сурово так ему и говорит:

– Ты что это, а? Уже жених, а руки не моешь – грязь на них два пуда, да ещё с половиной. Я тебе их сейчас отрублю и собакам выброшу.

Собак возле магазина он видел; засопел, насупил, смотрит на неё насторожённо; потом с трудом выговорил:

– Не тлогай меня, я на тебе зениться буду.

Буквы «р» и «ж» Павлик не выговаривал.

– Ладно, – захохотала продавщица, – раз женишься, тогда не трону. Только ты их помой, а то целоваться с тобой буду и испачкаюсь.

И сыпанула перед ним горсть конфет.

Павлик подрос; и однажды у прилавка продавщица Ольга его снова отругала: теранулся у ящиков с посудой из-под вина, и они с грохотом упали, правда, на стену, рядом с окном.

– Ты что, ходить не научился до сих пор? – шумнула она на него – А ещё жениться на мне хотел.

Павлик стоял растерянный, по щекам розовые пятна, – одним словом, испугался и всё. И вдруг на весь магазин раздался его крик, на весь магазин да ещё с невероятным ужасом в голосе:

– Ни за что!

Кто был в магазине – попадали со смеху.

«Либо обрёл я тогда себя, и теперь наступило время расплаты, – вспоминая иногда эту смешную историю, шутил Павлик; а если шутил – значит, не переживал, что все невесты мимо да мимо. Кому рассказывать, что есть у него одна разъединственная, которую не променяет никогда и с которой виделся бы бесконечное количество раз, выкраивая время из каждого нового дня, как выкраивает хороший портной костюм из отреза дорогостоящей ткани.

Но вот уже второй месяц он с Алькой не видится. На тонких паутинках проплыло над огородами бабье лето; и дальше были дни такие же погожие, при слабом ветре. Солнце старалось вовсю, словно с высоты небес увидело, что за горизонтом, в синих далях, уже спелело-притаилось скорое ненастье, и спешило отдать людям нерастраченное за лето тепло. А потому деревенская улица пуста: люди на огородах. Павлик тоже: помогает отцу с Дуськой в свой законный выходной убирать картошку. Колхозный трактор борозды распахал с утра; отец с Дуськой подбирают и ссыпают в мешки, а перенести её с огорода – это уже его забота.

Шёл второй месяц, как Павлик расстался с колхозом и работает в районных электрических сетях. Попервости числился монтёром. Когда оформлялся, мастер Степан Степаныч решил над ним пошутить, или, как там говорили, испытать на прочность.

– Николай, ты в школе по физике что получал? – спросил он.

– Когда что, – ответил Павлик, – и двойки были, и пятёрки.

– Значит, в электричестве соображаешь?

– В общем-то, да. Но я Павлик.

– Почему Павлик, когда ты по паспорту Николай?

– Так записали, можно сказать, ошиблись. Но по жизни я Павлик.

– Ладно, Павлик – так Павлик; и если ты, едрёна корень, соображаешь в электричестве, то вот для тебя экзамен: погрузи вон тот электромотор на тот транспорт, – и указал пальцем на автомашину, стоящую

метрах в десяти от электромотора, что лежал у ворот склада.

Монтёры, сидящие на лавке вдоль стены, чему-то дружно улыбались. Павлик стрельнул взглядом в сторону электромотора: таких больших он ещё ни разу не видел, ни в армии, ни в колхозе. «Это на сколько же он киловатт? – прикинул Павлик. – На десять, на двадцать? Неподъёмный, и грузить его только лебёдкой...

– Ну, чего стоишь? – поторопил его мастер. – Глядя на тебя, и работа стоит.

Монтёры продолжали улыбаться; улыбнулся и Павлик:

– Отсюда вижу: неподъёмный он для одного человека, лебедка нужна.

– А где её взять? – сказал мастер. – У нас нет.

– Тогда подручные средства и людей, да ещё машину поближе подогнать.

– Молодчина, Павлик, физику знаешь, экзамен принят... почти, – с паузой перед словом «почти» сказал мастер, – но что-то ты всё-таки упустил, а?

Павлик понял, что это для него серьёзная проверка; и сразу вспомнил, как, бывало, стоял на ремонте в колхозной мастерской, и маленький, толстенький инженер всё надоедал ему: распишись да распишись за технику безопасности; и, как на уроке, отчеканил:

– Расписаться в журнале.

– Правильно, – мастер был доволен, – расписаться за технику безопасности – у нас святое дело для каждого, ну, а мне – провести с вами необходимый инструктаж.

Словом, прокола не получилось, и монтёры вместе с мастером оценили это – каждый по-своему. А вскоре по разнарядке участку выделили новенькую спецмашину, и пригнал её из областного центра Павлик сам. Лучшего ему и не желать: машиной доволен, рабочий день нормированный, два выходных и зарплата хорошая, да ещё с авансом. Утром рано он через луговину – на большак, а там автобус рейсовый его подхватывает, так что уже через полчаса на рабочем месте. И после работы – домой, и также успевает на рейсовый. Солнце ещё не думает отправляться на покой, а он уже дома – умытый и причёсанный, и накормленный Дуськой, на которую отец не нарадуется; да и Павлик находит с нею общий язык – и в делах, и в разговоре.

Вот и в эти выходные он им хорошо подмог. Вышли на огород рано и работали без перекуров, так что уже после обеда с картошкой управились.

– Добре, – сказал отец, унося с огорода оставшиеся пустые мешки и вёдра, он их – ведро в ведро и в обхват.

Потом обедали; и Павлику чудно было смотреть, как отец, прошлёпав мимо него за стол, всё ладился поближе к Дуське, чтобы чувствовать, что ли, её плечом или коленкой, а может, и тем и другим. Она видела это, и улыбка оживала на её лице, словно человек, работая за столом руками, что-то вспомнил вдруг весёлое и никак не может отделаться от этих воспоминаний. Дуська поставила на стол бутылку свойской, рюмки, стакан, который налила отцу, – очевидно, знала, что из маленькой посуды он пить не любит. Она и в этом проявилась: теперь за водкой в магазин отец ходил

всё реже, потому что при переезде к ним озаботилась положить на подводу самогонный аппарат. Освоившись в доме, Дуська стала готовить на всё про всё и отличного качества: очищала от сивушного запаха и настаивала на травах. Отец надёжно был привязан к Дуське, как бык на колу; и Павлик даже подумал, что по первости именно это привело отца к ней; а может, это был всего лишь повод, чтобы постучаться к ней в любое время суток.

Когда закончили трапезу, Дуська стала убирать со стола посуду. Отец напялил на себя затёртый в работе пиджак и, видя, что Павлик из дома никуда не торопится, вдруг предложил:

– До ночи ещё далеко; пойдём до Дуськиной хаты – поможешь дровец наколоть. Я там печку хочу протопить и буду валять валенки. Заказы давно есть, и волну принесли, а я вот почему-то охладел к своему делу.

Павлик подумал, что во всём виновата Дуська, – это она отбила его от дела, но ничего не сказал, а только ухмыльнулся и пошел следом за отцом. Дуськин домик – сама Дуська и отец называли его хатой – стоял чуть в стороне от дороги, перед прогоном на выгон. Небольшой, аккуратно ошелёванный, но по всему крашенный давно-предавно, он, словно от стыда людского, спрятался в густом вишеннике; тропинка к дому без хозяйки, да и без отца, наверно, изрядно потоптавшего её, уже начинала зарастать настырным подорожником.

Отец гремел какой-то посудой внутри дома, а Павлик под вишнями, ближе к дороге, намахивал тяжёлым

колуном. Дровины с сухим треском разлетались в стороны, иногда колун застревал в полене, – это если оно было сучковатым, и тогда Павлик переворачивал его и снова бил о пень наотмашь, уже обухом. Разогрелся, увлёкся и вдруг услышал знакомый голос, окликнувший его; обернулся: невдалеке стояла Алька, держа за руки детей – старшего Мишутку и его Ванюшку.

– Павлик, здравствуй, – поздоровалась она, – Иду вот к матери, гляжу: ты. Меня не замечаешь, ну и подумала: дай поближе подойду, а то давно в твои глаза не смотрела.

Павлик на радостях колун – в пень, руки обмахнул о штаны:

– Заходи, заходи, всегда рады. Я тоже на тебя хотел посмотреть.

И потянул к себе Ванюшку.

– А более всего хотел я посмотреть вот на этого мужика... не, не на мужика, а на наследника царского престола, на Ивана-царевича, а в моей семье, выходит, первого.

Ванюшка по всему его уже забыл, а может, просто не запомнил, и смотрел на Павлика как-то насторожённо, редко-редко моргая, и, кажется, готов был вот-вот расплакаться.

– Не забыл, конечно, просто отвык, – пояснила Алька. – Да и сегодня ему что-то нездоровится: ночью просыпался, всё хныкал и просил пить.

И тут же, словно забыв про Ванюшку, к нему с вопросом:

– Ты-то как? Говорят, ушёл всё-таки.

– Да, в городе, – и Павлик утвердительно кивнул головой. – Машину новую дали...

– Променял меня на машину, – перебила его Алька. – А ведь я тебя просила, чтобы ты не уходил отсюда. И что же мне теперь прикажешь делать?

– Ничего не надо делать, – возразил он. – Как жили мы с тобой, так и будем...

Входная дверь заскрипела, и на пороге появился отец. Павлик замолчал, потом прошептал:

– Приходи сюда вечером, я буду ждать.

Пока отец набирал дров, Алька с ним поздоровалась – весело, словно до его появления не было у них такого серьёзного разговора: очевидно, хотела ещё с ним поговорить, но Ванюшка его неожиданно закапризничал, и она с ними рассталась.

Приморившись на дровах, Павлик пошёл посмотреть, чем занят отец. В первой половине дома, которая в своё время служила кухней, без хозяйки было неудобно; от стен тянуло прохладой, на подоконниках в беспорядке лежали какие-то предметы домашнего обихода, когда-то необходимые, а теперь оказавшиеся ненужными. Солнце уходило за крышу недалеко стоящего сарая, и в доме становилось сумрачнее. Отец подтапливал печь – она стояла в двух шагах от порога, прислонившись к глухой стене, и на её открытый зёв прямо из окна, напротив, всё ещё падал свет.

– Протоплю, а завтра займусь делом, – сказал отец. – По-хорошему, завтра за день пару сваляю, в печке просушу. Видишь: всё приготовил.

Возле окна, напротив печки, стоял широкий стол; на нём лежали деревянные колодки и колодочки, бруски и клинья, бутылки с какой-то жидкостью; на лавке, вдоль стены, – два полотняных мешка, очевидно, с волной. От печки, как от камина, уже веяло теплом; оно расплывалось волной – к потолку, до окна и за перегородку, где у Дуськи было что-то вроде зальчика, который занимал диван, стоящий у стены, под окнами, и кровать – у противоположной, глухой стены, сразу от печки. «А ничего, уютно было Дуське здесь, – подумал Павлик, – жить можно. Не зря отец нацелился сюда». И ещё подумал, что для встреч с Алькой это самое подходящее место.

– Мне надо бежать, – прервал его мысли отец, – а ты проследи, пока в печке прогорит, и трубу прикрой, а то всё тепло вытянет за ночь. Замок на двери.

И ушёл. Павлик вышел на улицу, присел на пенёк, на котором рубил дрова. Ждать ему пришлось недолго: торопливо застучали по потёмкам лёгкие шаги, напротив дома затихли. Павлик кашлянул, и серая тень качнулась в его сторону.

Огня в доме не зажигали, только ещё подбросили в печку несколько чурок, и они вспыхнули, осветили стены и потолок, Павлика и Альку, сидящих рядышком у стола. Из печки тянуло жаром. Несильное пламя еще долго бросало розовые отсветы на стол с отцовскими прибабасами и на опустевшую лавку; но за печкой, где стояла кровать, было хотя и темно, но не менее жарко.

8

Разные у людей дороги, и судьбы разные. Бывает, у одних дорога – хоть кубарём катись, а человек идёт по ней и спотыкается, и это на ровном месте. Скажут: судьба, – мол, она, злодейка, любому руки свяжет, то есть дадут человеку понять, что участь у него такая. И суждено будет ему горе мыкать до поры до времени, но когда желанное время наступит – опять же никто не скажет. Всё это дороги жизненные, у земных же другое предназначение. У бабы дорога от печки до порога, и за свою жизнь она тыщи вёрст исходит по ней даже самая неповоротливая; ну, а какая поспоровистей и пошвыже – кратно больше, потому что по дому она как помело: туда-сюда.

У мужика дороги всё больше за порогом: побей, покоси, домой принеси, и, в большей своей части, они ведут через магазин; и что бы он ни делал – для дома или для вдовствующей соседки, всегда поглядывает в его сторону. А той самой вдове по окончании работы, – допустим, наладил косу, ещё и подморгнёт: мол, видишь, дело сделано, весели, хозяйка; и перстом указательным – туда же, на магазин.

Вокруг дома все по одной дорожке топают, а за воротами их дороги – в разбег. По ним деревенские мужики и бабы столько исходили, что не поддаётся учёту. А как? Целый день на ногах и так же туда-сюда. И хотя приморится к закату человек, а перед сном, как бы раскрепощаясь от дневного перенапряжения, ещё потопает по дому, вокруг стола, чтобы сполна ощутить

потом радость от глубокого, пусть даже и короткого сна.

Всё по кругу до самого смертного часа: откуда пришёл – туда и ушёл; и смерть свою дорогу сыщёт, – это по которой никто не хаживал и за собою никого не важивал: на тот свет дорога-то. И ходит, всё ходит она, смертушка наша, дорогой своей набитой, и от неё не посторонишься и, что на солнце, во все глаза не взглянешь.

О чём это я? Окстись, раб Божий, о чём глаголешь, окстись! Горя много, а смерть одна, и все мы под Царём небесным ходим, под Богом. И если прогневишь его – не даст он тебе смерти лёгкой, без страданий и мук, даже если ты и причислен в семье к царскому роду-племени.

Вот они, сокровенные думки Павликовы – неизбывные, с которыми не расстается он уже много лет. Они пришли к нему однажды, когда он, также вот оставшись сам с собой наедине, просто лежал за печкой на кровати, в Дуськином доме. Павлик быстро привык к нему, как привыкает человек ко всему земному, что окружает его на новом месте, на каком-то отрезке времени, – это был тот самый случай. За тёмным окном непогода: холодный мелкий дождь, который временами усиливается, и становится слышно, как чаще и громче начинают стучать под окном, по железному листу, капли. А днём можно было видеть низкие пепельно-серые, как мёртвые, тучи – они надолго зависали над речкой, над пустыми огородами и садами, потерявшими последнюю листву; тучи, как старая проржавевшая бочка, уже не в силах были удерживать своё содержимое, и оно часами текло и текло на всё, что находилось под ними.

На этот раз Павлику одному, без Альки, лежать в кровати не захотелось. В печке лениво догорали дрова. Он сидел на диване, старом, но ещё довольно крепком, сохранившем классическую прочность от времён советского застоя. Поджидая Альку, все выходные дни Павлик проводил здесь; спешил сюда и после работы: отметится дома, поужинает, для виду возьмёт под мышку книгу, мол, буду читать, – и сюда. Как они однажды договорились, Алька приходила к нему, когда у неё появлялся час-другой свободного времени; а как она эти часы определяла, было известно только ей одной. Чаще всего она уходила с детишками к матери и оставляла их под её присмотром; или же дома оставляла их при Петрухе, со словами: «Ты присмотри за ними полчаса, пока я добегу... она просила...» Она могла сказать: к матери, к подруге такой-то, за тем-то, за тем-то, допустим, выкроить штанишки мальцу, но в любом случае бежала к нему.

Во время последнего их свидания могла случиться неприятность. Как всегда, Алька примчалась к нему в сумерках. Он встретил её на пороге, впустил в дом, а сам дверь закрыл на замок и зашёл с тыльной стороны, где была ещё одна входная дверь, которую Павлик закрыл за собой уже на деревянный клин. Задней дверью они пользовались довольно редко, так что тропинка к ней заросла высокой травой, тем самым создавалась видимость нежилого помещения. Можно предполагать, что это и спасло их от неприятности, которой они уже давно опасались.

Как всегда, свет в доме не зажигали, его было достаточно от сумеречных огней, засветившихся в окнах

домов на деревенской улице и на ферме, за речкой. И хорошо было слышно: кто-то подошёл к дому со стороны дороги, попробовал открыть дверь, потом прошумел под окнами, – наверно, пытался что-либо увидеть в них. Но окна были зашторены; и тогда незванный гость опять подошёл к двери, с новой попыткой её открыть, и, очевидно, нашарив навешанный замок, пошёл вокруг дома. Тропинки он там не обнаружил и, убедившись, что в доме никого нет, ушёл.

Алька забеспокоилась:

– Это Петруха, надо идти.

– Почему именно он? – спросил Павлик, – Может, это отец.

– Он сегодня с утра какой-то не такой. И взгляд недобрый. Всё намекал мне на кого-то: мол, что, нашла замену?

Словом, расстались они быстрее обычного и не без тревожно. И вот уже несколько дней и вечеров Павлик её не видит; и спросить не у кого, что там у них. И было ещё несколько вечеров, таких же одиноких, холодных и мокрых, – это были, по календарю, последние дни уходящей осени, когда в природе не осень и не зима, когда дождь мелко-мелко сеется, да долго тянется, а, как известно, зима без воды не бывает.

Дальше были выходные дни. Утром Павлик сходил домой, побрился, умылся, позавтракал вместе с отцом и Дуськой – за стол они всегда садились дружно, за редким исключением: это если Павлик запаздывал с работы по каким-то важным причинам. Потом накинул на себя плащ, надел на голову

кожаную кепку и мягко застучал подошвами резиновых сапог к своему холостяцкому пристанищу. В выходные дни отец туда не ходил, наверно, не хотел ему быть помехой.

Алька вынырнула из-за кустов неожиданно; перед порогом зонтик над ней сморщился и почти истаял в её руках. И вот она, его желанная, через порог, Павлик навстречу... Но Алька не потянулась к нему, как обычно это делала. Она стояла у порога и виновато смотрела то на него, то в окно, уже успевшее припотеть под натиском тепла от затопленной печки.

– Я ненадолго, – сказала она. – Не ругай, никак не получалось к тебе: то дети приболели, то мужик за мной, как коршун. Это он тогда под окнами ходил. Я тогда к матери – бегом, через огород; и ещё не успела раздеться, а он – через порог. «Ты чего, – говорю, – припёрся, случилось чего?» «Ничего», – говорит. «А чего детей одних бросил?» – говорю. А он молчит. «Так, – говорю, – бегом домой»; а сама его взагорб и за ним, за порог. Утром взбесился: кто-то что-то ему всё же нашептал; ну и, как бык, головой о печку...

Алька говорила, а из глаз у неё уже бежали слёзы. И не понять было Павлику, кто виноват в её слезах: он ли, не чаявший в ней души? Мужик ли её, Петруха-Рыбнадзор, терзающий её, как коршун свою жертву? Но Алька думала по-другому.

– И мне его жалко стало, – продолжала она говорить сквозь слёзы. – Что, думаю, проститутка, я делаю?...

А по щекам всё слёзы, как дождевая вода. Павлик хотел её обнять, чтобы успокоить, утереть солёные

ручьи, но она остановила его жестом руки, которой держала зонтик:

– Нет-нет, погоди... да, почему делаю, хотя я давно это делаю и много чего наделала?

Павлик по-прежнему ничего не понимал: зачем казаться? Зачем себя казнить, если у них уже всё и давно ясно-преясно? И всего-то ей надо послушать его и сделать, что он говорит.

– Милый, я не могу, понимаешь, не могу бросить его и уйти: мне его жалко, хотя порой и ненавижу за его выходки. А ты прости меня, ладно?

Потом она зарыдала, порывалась что-то сказать ещё, для неё, видимо, очень важное, но так и не сумела сказать – резко повернулась, дверь тоже как бы всхлипнула непонятно каким голосом: слабым-слабым, с хрипотцой. И Алька ушла.

Для Павлика это был удар, и весьма ощутимый, от которого рушились все его планы и надежды, – а их он вынашивал в себе много лет, стремясь воплотить в жизнь. Теперь же в его жизни ничего не складывалось.

9

И потянулись у Павлика Романова безрадостные дни, которые сливались в недели, месяцы и были наполнены воспоминаниями о прошлом, раздумьями о своём настоящем и будущем; оставались позади события, люди, эпизоды – во всём своём многообразии они также сливались в единое русло времени. Сколько их у него впереди, сколько будет находиться в состоянии

неопределённости ещё, Павлик предположить не мог. А время неудержимо: уже не единожды оно отзвенело ему мартовскими ручьями, отшумело летними ливнями, с громами и молниями; оно отплакало холодными осенними дождями, такими же, как в тот субботний день, когда Алька уходила от него, залитая слезами вперемешку с дождевой водой. Так и стоит картина эта у него перед глазами: она негромко рыдает, закрывает за собой дверь; у Павлика не хватает сил броситься вослед, чтобы остановить её и попытаться убедить не совершать опрометчивого поступка – нельзя же уходить, у них есть сын, а значит, им по жизни идти вместе. Она уходила по дождю быстрыми шагами, не раскрывая зонтика, словно спешила по шаткому мостику перейти на другой берег, где будет ей бестревожно за каждый свой прожитый день.

И Павлик почувствовал себя несправедливо обиженным, как случалось это с ним в детстве, когда учителя, убеждённые в своей правоте, наказывали его за проступки одноклассников. И ещё уяснил он для себя: да, превыше всего любовь; но вместе с тем у человека, кроме любви, есть чувства, руководствуясь которыми, он строит свою жизнь: допустим, ненависть, – как говорят, от любви до ненависти один шаг. Конечно, в их отношениях – не тот случай. Жалость, да, жалость! Когда Рыбнадзор пытался головой развалить печку, у Альки сжалось сердце, оно дрогнуло, как осиновый листок, и родившееся в тот момент чувство жалости заслонило собой всё, чем жила она до этого. И Алька сделала выбор, а выбирают всегда женщины.

Что делать ему дальше, жизнь подсказывала сама – не добрая мать, не отец, наученный строгости неизвестно кем: родителями или ещё кем-то, встретившимся на его пути. Теперь Павлик всё реже и реже бывал в Дуськином доме; а когда приходил, ему казалось, что вот сейчас мелькнёт под окнами сиреневый Алькин платок, откроется дверь... Платок не мелькал, и дверь не открывалась час, другой; и тогда он вешал на неё замок и с накопившимся чувством злости на себя за тупость в оценке случившегося в тот роковой день уходил домой. За зиму и весну дорогу туда Павлик вообще забыл..

А на работе у него дела как бы ладились. Он вжился в коллектив, который состоял, в основном, из таких же молодых, как он, и весёлых парней, уже отслуживших в армии. Утром они грузились в его машину и на целый день уезжали на свой очередной объект, плановый или аварийный – им было без разницы. Спецмашина, которую освоил Павлик, нравилась всем: пахнувшая свежей краской и ещё какими-то заводскими запахами, сохранявшимися не один год, она всегда была на ходу, к тому же, и проходимая: нипочём ни весенняя распутица, ни снежные заносы; а ещё с утеплённым кузовом, так что зимой в ней можно было погреться у печки-буржуйки, а летом – спрятаться от дождя.

В дороге шутки, смех, анекдоты – самые разные, но всё больше о любовных приключениях, о тёщах и зятях, вечно конфликтующих между собой. Павлик с мастером Степаном Степанычем в кабине через открытые окна слышат взрывы дикого хохота и могут только догадываться, от чего они там умирают в очередной раз.

Степан Степаныч годами старше всех, семья у него, по нынешним временам, почти многодетная: две дочери-школьницы. А жил он где-то недалеко от места своей работы, в частном секторе города, среди улиц, напоминающих большое сельское поселение или утопающий в зелени дачный массив. По приезду на объект, где им предстояло работать, Степан Степаныч брал дела в свои руки:

– Ну, что, – скажет, – едрёна корень, готовы к труду и обороне? – это у него поговорка такая, как бы присказка, но взгляд – себе на уме; а потом как подытожит: – Дезертиров нет, и это уже хорошо.

И сегодня присказка при нём:

– Приехали, едрёна корень. Все на месте, программа-минимум перед вами: вот столбы, на них – провода, шанцевый инструмент монтера на руках. Здесь провода снимаем, и чем раньше закончим, тем лучше, в противном случае, придётся работать под дождём: обещали. А закончить надо, кровь из носа: завтра с утра будем новую линию тянуть, но уже в другом месте. Усекли, орлы?

Орлы ещё не успели рта раскрыть, а Степан Степаныч, сам понимавший всех с полуслова и не любивший в этом плане заторможенных, уже со своим извечным вопросом:

– Ну, что носы повесили, не выспались, едрёна корень? Спать будем дома. Вперёд, за Родину.

И, как всегда, пошёл по линии первым. Это был призыв приступить к работе, а все в бригаде знали: Степан Степаныч мастер не только говорить, но и образец, как

надо работать, и в строгости своей к людям недобросовестным может переусердствовать. Сам Степан Степаныч после таких разборок объяснял, что он за порядок и в семье, и на работе, и будет добиваться этого любимыми методами – Павлику он больше напоминал хорошего отца-воспитателя.

Призывы приступить к работе у Степана Степаныча довольно часто обновлялись, так что на их трудовом фронте шли сражаться ещё и за Сталина; а то позовёт на винные погреба, хотя сам он отличался от своего окружения большой трезвостью. А однажды, озадачивая программой-минимум, ввернул несколько немецких слов. Васёк Гринёв, по жизни большой весельчак и выдумщик, на его призыв, исковерканный немецкими словами, откликнулся сразу:

– Это не Степан Степаныч, а эсэс: так сказать, сокращённо.

По прошествии времени мастер узнает, как зовут его за глаза; и также будет знать, что прозвище это дано ему, конечно, не за немецкие слова, сорвавшиеся с языка в минуту вдохновенного труда: они всего лишь послужили поводом, а наэлектризованная братва провела параллели и приговорила вот к такой аббревиатуре за строгость, вьедливость, что ли, в любом деле. И при всём при этом он считал, что такую черту характера хорошо бы иметь каждому, потому и особо не тяготился. А однажды бросил даже такую фразу: мол, хорошо ещё, что не обозвали фюрером.

По команде мастера приступили к работе. По его же команде бригада снимала с себя когти и пояса, когда

наступало время обеденного перерыва или рабочий день заканчивался. И на обратном пути из автобудки снова анекдоты, шутки и смех, но уже не настолько громкий, чтобы его могли хорошо слышать сидящие в кабине: усталость брала своё.

В один из погожих тёплых дней, закончив работу, Павлик вышел за ворота участка и направился к автобусной остановке не своей обычной дорогой, от ворот – прямо, а свернул, через проулок, на параллельную улицу, тоже с выходом на окраину. Природа благоухала: вовсю цвела сирень, воздух, пропитанный запахами отцветающих садов, сотрясали соловьи. «Вот тебе и город, – подумал Павлик, – и всего-то одна улица с тремя десятками двухэтажек в центре, ещё двухэтажные больничные корпуса и административные здания всевозможных организаций на окраине, а в остальном, – как в деревне». И, словно подтверждая его мысли, где-то справа, за соседней улицей, промычала корова; тут же, но уже в другой стороне, закудаhtала курица, и сразу ей откликнулся петух: мол, слышу, слышу я и бегу.

Павлик шёл быстро, стараясь не опоздать к приходу автобуса. Впереди маячила стройная женская фигура; такие же быстрые шаги – по всему спешила и она, но с Павликовыми их не сравнить: он шёл быстрее, и они сближались... И вдруг сердце у Павлика дрогнуло: она, Алька, Алька!... Её сиреневый платок, из-под которого черные волосы; и такая же отмашка рук: как бы помогает ими делать шаг пошире ... «Алька, Алька! – заходится сердце. – А зачем она здесь? К кому-то приезжала сюда,

как в своё время прибегала к нему в Дуськин дом?» Мысли – роем, догадок – тьма; и Павлик уже хотел по-тихому идти за ней, чтобы проследить, куда она пойдёт, но всё-таки сдержать себя не смог и позвал:

– Алька!

Она обернулась, и Павлик понял, что ошибся: перед ним стояла не Алька, а совсем другая девушка, но так похожая на ту Альку ... И он сначала растерялся: нет, не она; потом, словно не веря своим глазам, зажмурился, потом часто-часто поморгал ими: да, не та Алька; но как же она похожа: и фигура, и тот же взгляд из-под чёлки... Копия – Алька!

Девушка удивлённо посмотрела на него, но сразу всё поняла и улыбнулась – и тоже Алькиной улыбкой, мол, ясно-понятно: произошла ошибочка. А дальше они пошли уже рядом, по-прежнему не сбавляя шаг.

– Вы уж извините меня, – начал объяснять ситуацию Павлик. – Просто обознался. Но так похожи вы, так похожи...

– А кто эта Алька? – спросила она.

– Дружили мы, – ответил Павлик. – Я ушёл в армию, она вышла замуж.

– Не дождалась?

– Выходит, что так; да, собственно, она и не ждала.

Павлика как ударили чем-то тяжёлым по голове: шёл как в тумане, мысли в разбежку, перед глазами картины из прошлого, а сердце стучало в такт шагам: Аль-ка, Аль-ка!..

– Плохо у вас получилось, – сочувственно сказала девушка. – А у неё, наверно, всё хорошо?

– Вас как зовут? – спросил её Павлик; на вопрос не ответил: не знал, какую оценку поставить любимой женщине: можно было хорошую, можно и плохую.

– Вера, – сказала девушка.

– А я Павлик.

Но он ещё не начал приходить в себя; он всё думал, что идёт с той Алькой, с которой много лет общался как с самой любимой женщиной на свете и которая родила ему сына и в радости от этого воспитывает его. Мгновенная распечатка в памяти событий последней их встречи в Дуськином доме привело его в реальное время.

– Вера спешит на автобус? – спросил он.

– Да нет, – и Вера чему-то улыбнулась. – Я к подруге, она в пригороде живёт, это через одну остановку.

И она снова улыбнулась, очевидно, вспомнила что-то весёлое, связанное с подругой.

– С работы я, – как-то просто, по-домашнему сказал Павлик. – Работаю в электросетях шофёром и езжу из деревни; правда, иногда хожу пешком – напрямую мне до города полчаса ходу.

– А-а-а, представляю, – нараспев отозвалась на его слова Вера, – мой брат работает там мастером.

– Степан Степаныч?

– Да, – и Вера снова улыбнулась.

Теперь Павлик обратил внимание, что, говоря о людях, ей хорошо знакомых, Вера всегда улыбалась, очевидно, находилась с ними в тёплых отношениях; будь, наоборот, в плохих отношениях – не улыбалась бы.

К остановке они подошли вовремя; в автобусе сели рядом, но разговора как-то не получилось: пассажиры

смотрели на них со всех сторон, а чтобы слушали их разговор посторонние люди, Павлику не хотелось. Вера на второй остановке вышла. Он смотрел, как за грязным окном мелькнул её сиреневый платок; потом она легко перебежала через дорогу, где на обочине её ожидала подруга, которая тут же протянула навстречу ей руки, обняла; и узенькая тропинка повела их от дороги к домам, что стояли на приличном расстоянии от асфальта. Как показалось Павлику, уходя от дороги, Вера на секунду повернула голову в сторону автобуса, словно хотела взглядом отыскать за грязным окном того, кто совсем недавно и недолго был с ней рядом и оставил о себе приятное впечатление. А может, она подумала, что Павлик – её судьба? Не случайно же, как очарованный странник, смотрел и смотрел на неё, охотно разговаривал, когда они шли к автобусной остановке, а в автобусе притих, словно никак не мог прийти в себя. Но в любом случае, пока Павлик добирался до дома: ехал в автобусе, шёл по просёлку, он думал уже не об одной Альке, точнее, не только о той женщине, что воспитывает его сына; уже другая женщина, которую он догнал на городской улице, заставила сердце трепетать и входила в его сознание также быстро, как шла она впереди него, а потом и рядом.

10

Поди узнай, как бы сложилась дальше Павликова судьба, если бы не встретил он тогда Веру, которая всем своим существом всколыхнула в нём его прошлое; и

он потянулся к ней своей израненной душой на том коротком временном отрезке их пути. Но они так легко разминулись, не найдя ни повода, ни смелости за что-то зацепиться, чтобы встретиться однажды снова; и, казалось, уже можно было Павлику сказать: мол, не судьба, родной, тебе ещё шагать, шагать своей дорогой жизни одинокому, как перст. Но случилось то, что случилось; и потом всю свою жизнь Павлик будет думать, что каждому человеку с первого дня его рождения предугадано свыше, насколько долгод будет век его земной и какой жизнью будет он прожит.

После знакомства с Верой Павлик как заново родился и начал жить по-новому. Та Алька, по которой он до армии и после неё просто умирал, сгорая от страсти видеть её, слышать её голос, – та Алька всё дальше и дальше удалялась от него; и каждый раз, думая о ней, Павлик представлял её идущей мимо Дуськиного дома с детьми – почему-то именно такой и представлялась она в памяти его. А вот одна... да, это когда они шли рядом за гробом матери на похоронах, она – с подсветкой на глазу; и когда висела у него на шее и просила дать ей шансик... Вспоминая этот эпизод, он недовольно морщился и начинал думать, что не надо бы давать ей никакого шансика, даже самого маленького, потому что такие раны с возрастом заживают плохо. Хотя как сказать: любая палка – о двух концах. Теперь вот есть у него сын, который растёт и совсем скоро пойдёт в школу. Но боль, причинённая ему любимой женщиной, жила в нём постоянно, то затихая, то снова напоминая о себе, и заглушить её, как думал Павлик, могло лишь только время.

Но он ошибся и понял это после знакомства с Верой. Теперь он всё больше думал о ней, а все эпизоды из прошлой жизни в деревне начинали бледнеть, словно забытая на подоконнике газета, которую сжигало беззастенчивое солнце. Павлик жил по тому же распорядку дня, но теперь всё, за что ни брался, давалось ему легко. По дому словно летал, когда брился, умывался и одевался-обувался; и дорога до города не казалась ему такой тяготной, какой была до этого. И он постоянно вынашивал в душе надежду снова увидеться с Верой, но как и где – не мог себе представить. По-тихому порасспрошал у ребят: где живёт Степан Степаныч и с кем? Самым сведущим оказался Васёк Гринин. «А у него сестра ещё есть, – подсказал он. – Домик такой небольшой, в общем, но красивый; и два петуха красных на воротах... Не повезло: свадьбу сыграли, а мужик на мотоцикле разбился».

И Павлику захотелось на петухов посмотреть – с автозаправки сделал небольшой крюк и не спеша проехал по улице. Петухов увидел издали: исполняющие обязанности флюгера, они лениво покачивались на сквознях из стороны в сторону, словно только-только взлетели на ворота и высматривали во дворе место, куда бы им приземлиться, чтобы не сломать ноги и не растерять свои красивые перья.

Возле дома – никого; слышно только: то ли в её доме, то ли в соседнем, что через дорогу, заиграла музыка. «Как у бабки Марфы, – подумал Павлик и улыбнулся, вспомнив свои приключения с радиолой. – И надо же было придумать». Также на малой скорости

проехал мимо дома Степана Степаныча – Васёк Гринин сказал, что он от петухов слева, если смотреть на них. Посмотрел Павлик на эти два дома – и стало на душе у него приятно, словно с хозяевами их поговорил по-хорошему. Но как повидаться с Верой, Павлик так и не придумал. Помог случай. В начале июня прошли обильные дожди – тёплые и спокойные, словно через сито, сеялись они над лугами; и общественный скот торопились выгнать на пастбища: подступила пора большого молока. А чтобы не гонять доить коров на ферму, организовывали в лугах летние лагеря и подводили туда электричество. Вот и поехал Степан Степаныч вместе с Павликом в одно из хозяйств оглядывать место будущего лагеря и составлять смету на строительство линии электропередачи. Приехав туда, Степан Степаныч открыл дверцу и спрыгнул с подножки на землю... И надо же: нога подвернулась, мастер ойкнул и упал.

Ходить без посторонней помощи мастер уже не мог. Все расчёты хотел сделать на глазок, но потом передумал.

– Я не могу, а ты можешь, – сказал он Павлику. – Иди прямым путём к деревне и просчитай, сколько метров до столба, что стоит у крайнего дома, – это всё, что нам надо будет знать. Остальное – по техническим условиям.

Павлик уже готов был пойти, но вдруг предложил:

– Степан Степаныч, зачем нам ходить, если в машине есть спидометр, – точнее будет.

Мастер остался доволен его предложением:

– Молодцом, Павлух: сообразил, а то я чуть было не подвёл начальство.

«Да, словно большое сражение проиграл бы», – с иронией подумал Павлик. Они развернулись, и Павлик направил машину к деревне напрямки, по кочкам, через неглубокий окоп, оставшийся от времён войны, – и до столба, стоящего у крайнего дома. Степан Степаныч всё в том же довольстве достал из папки шариковую ручку и бумагу, что-то записал, – как Павлик заметил, вся его писанина уместилась в двух строчках, – и распорядился:

– Павлух, едрёна корень, отвези сейчас меня в больницу: надо показаться врачу; подождёшь меня, а потом – до дома. Усёк?

– Усёк, – сказать без улыбки у Павлика не получилось.

В больнице они побыли недолго. Павлик помог Степану Степанычу доковылять до «скорой помощи»; там ногу осмотрели, какой-то мазью, с резким запахом, помазали и забинтовали; и скоро они уже стояли возле его дома. Наступить на ногу Степан Степаныч не мог, и Павлику одному вести его до дома, через порог и в доме было весьма сложно. Степан Степаныч это понимал и, морщась от боли, попросил:

– Ты, это, Павлух... дома сейчас у меня никого: жена с детьми в лагере, что при школе; и ты сходи в тот, что с петухами – там сестра моя живёт, Верка, и должна быть дома. Вдвоём вам будет проще со мной справиться.

Павлик открыл воротину, подошёл к дому и громко позвал:

– Хозяйка!

Она вышла на порог; и сердце его зачастило от радости: Аль-ка! Аль-ка! А сам сказал:

– Здравствуй, Вера, я приехал.

– Здравствуй, Павлик; с чем приехал?

– Свататься, – решил пошутить он. Шутка была принята:

– Ого! – и она весело засмеялась. – А где сваты?

– В машине, тебя хотят видеть.

– А если серьёзно? – спросила она, хотя улыбка не сходила с её лица.

– Степан Степаныч повредил ногу, ходить не может. Он в машине, и надо помочь довести его.

Вера – с порога, прикрыла дверь. Потом они осторожно завели его в дом, помогли раздеться и усадили на диван. Степан Степаныч облежённо завздыхал и зафукал:

– Ну и всё. Спасибо вам, Павлику – особо. Ты там расскажешь про мою беду. А ты, Вера, будь умницей: угости чем-нибудь Павлика – для него время обеденное; чем – найдёшь в холодильнике и на газовой плите.

Она уже направилась к холодильнику, но вдруг остановилась, повернулась в сторону брата:

– Нет, Степа, мешать мы тебе не будем: у меня дома есть чем покормить его, я только-только щи из молодого щавеля сварила, так что можешь отдыхать..

– Дома – так дома, – не стал перечить Степан Степаныч. И они ушли.

В доме Веры было всё просто и, в то же время, уютно: просторная кухня, дальше – зал, посреди которого

стоял небольшой круглый стол, над ним – люстра, с блестящими подвесками; на окнах красивые занавесочки, у стены – направо, за которой, очевидно, располагалась спальня, с кроватью и шифоньером, стоял мягкий диван и над ним – семейные портреты; ещё между окон втиснулось трюмо, а в углу темнел лицом телевизор. Павлику достаточно было одного взгляда, чтобы увидеть весь дом как единое целое: в домах с такой планировкой жила не только его деревня – вся страна, половина которой была порушена войной и где-то на втором десятилетии от неё позволившая людям строить жильё с полами и отдельными спальнями.

Вера в считанные минуты поставила на стол посуду с едой, и Павлик, в общем-то, не стесняясь, быстро справился с тарелкой зелёных щей, не отказался от котлеты с гречневой кашей и запил компотом: всё было вкусно. Но более всего он был доволен, что как-то просто получилось у него встретиться с Верой снова; да и в общении между собой у них выглядело всё по-простому, словно они давным-давно были знакомы и были общими у них дела и интересы. И Павлик, почему-то решивший, что ему от Веры ничего не надо скрывать из прошлой жизни, как и планы на будущее, сумел в этой светлой и уютной кухне рассказать её хозяйке много чего интересного.

– И как же мне теперь тебя звать? – засмеялась Вера.

– А как удобней, – весело ответил Павлик. – Вот в царской династии были всё Петры, Ивановы, Николаи, Александры, а в нашей семейной династии два Николая, и, выходит, я – Николай второй.

– Второй – с большой буквы? – спросила она.

– На большую букву я ещё не наработал, – Павлик принял её шутку, но ответ получился как бы серьёзный, хотя Вера на это не обратила внимания: ей было весело.

– Ладно, – согласилась она, – буду, как все: Павликом, но царём – не буду: цари долго не живут. Их всё время пытаются убить или отравить, или они сами быстро умирают, словом, не долгожители.

– А у нас в стране сейчас долгожителей по пальцам пересчитаешь. Ходил по кладбищу – всё больше молодые там...

Обеденное время заканчивалось, и ему надо было спешить на работу. Павлик это понимал, но как же не хотелось ему расставаться.

– Вера, мне-то надо ехать, а сильно не хочется, – признался он. – Да и ничего не рассказала ты о себе: всё я да я.

На его откровение Вера ответила откровением:

– Мне, Павлик, тоже хорошо с тобой. Думаю, мы ещё встретимся, тогда и я расскажу о себе.

Павлик поблагодарил за обед; Вера проводила его до ворот и не уходила, пока машина не тронулась. Как показалось Павлику, ему вослед смотрели петухи ревниво.

11

И всё-таки удивительная штука – жизнь! Ещё вчера моросило и капало с крыш и мокрые куры забивались в сараи и всякие прилепки, чтобы просушить и почистить

перья; ещё вчера отец с Дуськой надевали резиновые сапоги и плащи, чтобы сыпануть птице корма или принести воды из колодца, который почти у самой дороги, в полста метрах от дома; ещё вчера и Павлик шлёпал по дождю – к автобусу и с автобуса, а сегодня, как сказал отец, другой табак: безоблачно, ветер еле-еле, солнце по небу без помех, и вокруг как бы просторней стало: видно-то вон как далеко.

Павлик – как маятник в часах: утром – туда, вечером – сюда. Отец каждый раз, наверно, встречает его одним и тем же вопросом: «Что же ты, Павлик, с собой никого не привёл, а? Вот спросят меня: «Видал ли радость, женивал ли сына?» А что я отвечу? Что не было у меня той самой радости, зато сам два раза женился». Скажет мимоходом, ответа не ждёт: знает, что сыну сказать снова нечего, никаких сдвигов.

Маятник – туда, маятник – сюда. На просёлке за-тишье, лёгкий парок поднимается, над головой и по кустам, что вдоль дороги, птичий переполох: человек идёт!

Маятник – туда: идёт и дышится легко, и думается Павлику светло, как и видится ему вся эта красота – с ромашками, глаза у которой жёлтые, а ресницы белые; с шиповником, виновато раскрывающим свои поздние цветы; и с промытой до блеска травой-муравой. Маятник – туда, а это значит: Павлик идёт вместе со временем, и нет сегодня никакой силы, способной его остановить. Павлик даже не идёт, он летит, – настолько лёгок его шаг, и на то у него есть свои причины.

Всю эту неделю Павлик снова был как во сне: чтобы он ни делал, куда бы он ни ехал – перед глазами стояла

Вера, так похожая на Альку, что иногда он начинал теряться: кто есть кто? Через два дня они отправились на то место, где неудачно приземлился Степан Степаныч. Следом подошла бурильная установка, за ней с натуженным рёвом приполз мощный трёхосник с прицепом, на котором были уложены в рядок бетонные столбы, ими же когда-то снятые со старой линии. Подъёмный кран чуть припоздал, но работу свою выполнил как полагалось.

Командовал всей работой Васёк Гринин – так распорядился начальник участка. Васёк знал, как надо командовать, и столбы от деревни до загона встали на свои места ещё до обеда, потом протянули провода, и когда на выходе загорелась контрольная лампочка, Васёк Гринин, копируя Степана Степаныча, сказал:

– Так, едрёна корень, дело сделано, и нам пора.

Все машины своё давно отработали и уехали; и бригада быстро приготовилась к отъезду: переоделись во что почище, сложили в будку шанцевый инструмент.

– Теперь слушать меня, – скомандовал Васёк Гринин. – У нас есть время, чтобы провести Степана Степаныча. Сейчас возьмём две апельсинины и бутылку кефира и заедем к нему, – так сказать, поддержим его морально.

Никто не возразил, не оспорил предложение Васька, и вообще, по сегодняшнему дню можно было предполагать, что Васёк со своей бригадой думает одинаково. Павлик притормозил у первого же магазина на въезде в город; Васёк метнулся из кабины, а теперь Степана Степаныча место занимал он, и через пяток минут уже

захлопывал дверцу за собой, держа в руках распухший полиэтиленовый пакет.

Для Степана Степаныча их визит стал полной неожиданностью: настолько он был обрадован, что его чуть не прошибла слеза.

– Ну, спасибо, что сразу вспомнили, что человек в беде. Спасибо, ценю – откровенно признался он. – Я вообще-то о вас никогда плохо не думал, но вот чтобы вот так... сразу как бы...

Для монтерской братвы было непривычно видеть своего мастера таким взволнованным, причём в домашней обстановке; и они, доложив ему о своих трудовых успехах, при этом не забыв ещё какие-то новости, уже начинали топтаться у двери, как Степан Степаныч вдруг скомандовал, словно это было на очередном их объекте:

– Так, едрёна корень, никто никуда не уходит. Моих дома нет, но Павлик всё знает, – и к нему: – Иди, куда ходил надясь, и скажи, чтобы пришла, ну и с собой чего-нибудь взяла бы.

Монтёры раскрыли рты: мол, что за секреты; а Павлик словно этого и ждал: за дверь, в те ворота, с петухами, и на порог; и так же, как два дня назад:

– Эге, хозяйка! Ау!

Вера словно ждала его; и с порога:

– А я только что думала о тебе.

Когда она появилась на пороге, у Павлика сердце – галопом, а после таких слов оно вообще вразнос.

– Я тоже, – признался Павлик. – Но я и вчера о тебе думал.

– А пришёл что, свататься? – и Вера испытующе посмотрела в его глаза, словно хотела прочесть в них нужный для неё ответ.

Павлик растерялся: это была позавчерашняя его шутка.

– Нет... да... да нет...

Так и стоял он перед ней, повторяя эти слова, – так заедает в проигрывателе старая, заезженная пластинка на самом истёртом витке. А потом вдруг сбросил с себя всю эту растерянность, улыбнулся, словно ребёнок, довольный, что теперь он сможет наконец объяснить причину своего прихода.

– Я снова от Степана Степаныча, – сказал он. – Мы приехали его проведать.

– Я видела в окно.

Кивок её головы обозначал, что это так и было.

– Он попросил, чтобы ты пришла к нему, ну и чего-нибудь прихватила с собой, как я полагаю, закусить.

Вера поняла всё правильно: она достала из холодильника банку консервов, какого-то салата домашней заготовки, небольшой кусок сала и буханку хлеба. Павлик молча наблюдал за ней; и тут же сам себе признался, что ему приятно смотреть, как она выполняет эту не сложную домашнюю работу; а ещё от такого общения с нею на душе у Павлика было радостно и тепло. Не мудрствуя лукаво, сказал ей об этом шёпотом; и ещё добавил:

– Я вот увидел тебя и от радости даже растерялся, это когда ты спросила меня за сватовство. Ты читаешь мои мысли.

– Читаю, – подтвердила она.

– И что в них?

– Серьёзные намерения.

В этот момент ему вспомнились слова отца, который спал и, наверно, каждый раз видел его женатым человеком; вспомнил брата, женившегося в одночасье: подошёл на танцах в клубе к девушке, а им обоим к тому времени было уже по двадцать два, постоял с ней рядом, поговорил о том о сём, – а мать как раз советовала ему взять в жёны именно Юльку: мол, скромная, рукодельница, и хозяйка хорошая, – ну и прямо так ей и сказал: «Пойдёшь за меня замуж?» Она спокойно выслушала его слова и также спокойно ответила ему: «Пойду». »Когда сватов присылать?» – спросил он. «Хоть завтра», – ответила она. Почему сразу согласилась, ни разочку не пройдя с ним рядом по потёмкам, не обнявшись, он точно сказать не мог, а всего лишь догадывался: наверно, кто-то пошептал ей на ушко, что Колька Романов хороший парень для жизни, и кто выйдет за него замуж, будет жить как за каменной стеной; и всё это в голове Павлика пронеслось в секунду.

– Да, читаешь, – сказал Павлик, стоя перед ней и глядя в её глаза – добрые, чистые, как родник. – Не знаю, всё ли прочитала ты в них, нет ли...

Он замолчал, как бы собираясь с духом, но фразы, на которой остановился, не закончил, и вдруг спросил:

– Вера, пойдёшь за меня замуж?

– Павлик, – сказала она, не отрываясь от своего дела, – ты же меня не знаешь.

– Узнаю, – сказал он. – Завтра выходной – приду и узнаю.

– Завтра и скажу.

Сказала также просто, как говорила до этого; и Павлик понял, что Вера ему не отказывает, что она прочитала его мысли, когда они ещё впервые в жизни рядом шли по улице; эти мысли были прочитаны ею и сейчас, и минутами раньше, когда он стоял у порога и звал хозяйку. Да, подобные вопросы в такой обстановке, как сейчас, не решаются, и значит, Вера будет ждать его завтра.

Павлик взял её руки в свои ладони и пристально посмотрел в глаза; чувствуя исходящее из них желанное тепло, приблизил руки к губам и стал их целовать – сначала левую, потом правую; почему не наоборот – и сам объяснить не мог.

А Степан Степаныч на радостях решил угостить рабочую братву настойкой, которую готовить был горазд, но пить её предпочитал по праздникам Великим; и выходило, что она, рабочая братва, устроила для него праздник. Вера быстро организовала этот праздничный стол: звякнули рюмки, простучали тарелки для закусок, рядом легли вилки-ложки, а в завершение сборов торжественно водрузила в центре трёхлитровую бутылку с напитком.

Как потом говорили в бригаде, Степан Степаныч оказался на высоте, куда не забирался в электросетях ни один службист из начальствующего состава за все годы: и как руководитель, и как гостеприимный хозяин, и как человек, с которым можно общаться и решать

любые вопросы; словом, своими поступками он работал на авторитет – в лучшем смысле этого слова.

Перед уходом Степан Степаныч подозвал к себе Павлика:

– У меня, едрёна корень, к тебе просьба, Павлуш: ты нет-нет да и заскочи ко мне на минутку. Я-то, видишь, какой-никакой, а ты что-то да сделаешь для меня: допустим, до больницы проскочим или ещё чего. Я Верке скажу, она тебя найдёт, если что.

Павлик в знак согласия кивнул головой, Степан Степаныч крепко пожал ему руку, словно просьбу его Павлик уже выполнил.

А следующий день был выходным, и Павлик вставать с кровати не спешил, хотя, как он считал, и надо бы спешить: он помнил, что сегодня Вера его ждёт, и он услышит её «да». Но временами его начинал подтачивать червь сомнения; медленно, словно жук-короед, пробирался он к самому сердцу: «А вдруг да и не услышит?» И тогда Павлик начинал приближаться к тому состоянию, когда Алька, перешагнувшая через порог Дуськиного дома, выплеснула на него ушат непонятно чего, какую-то горючую смесь, составленную из огнеопасных слов. Но приливы чередовались с отливами, и тогда внутри у него всё приходило в нормальное состояние – словно не было никакого короеда и гремучей смеси, а только одни хорошие многообещающие слова.

Под их воздействием Павлик встал, быстренько побрился-умылся, как приучила его к этому армейская служба, и, что-то съев, что-то не съев из оставленного

Дуськой на столе, стал подыскивать для себя, как думалось ему, что поприличнее.

– Куда-то нацелился либо? – то ли спросила, то ли сделала вывод Дуська.

– Да, пойду похожу, – неопределённо отозвался на её слова Павлик.

С Дуськой у него сложились хорошие отношения, и никогда не возникало никакого недопонимания. Единственная трудность появлялась в разговоре с ней: с самого первого дня её появления в их доме он так и не определился, как ему её звать; матерью – это не для него: так могли звать её только дети; Дуськой – как-то невежливо, хотя за глаза так и звал; Евдокией – не сказать, что слишком официально, скорее, как-то холодно, словно Дуська для них была по-прежнему чужим человеком; как и тётей, кстати. Иногда называл по имени-отчеству: Евдокией Андреевной, но чаще всего не называл никак, и она великодушно прощала его за эту трудность.

– Ему давно пора не шляться по чужим углам, а дома за детским садом присматривать, – сердито сказал отец.

Он каждый день долбил об одном и том же. Вот и вчера: Павлик пришёл вечером и принёс домой котёнка, выброшенного кем-то на просёлке и подобранного им. Отец сдёрнул брови к переносице, глаза вприщур на него, а в них и в голосе грусти – ведром до ночи не вычерпать; и в ту же дуду:

– Котят собирает. Обрадовал, думаешь? Нету радости мне от твоего подарка. Ты лучше бы внушка мне привёз и посадил на коленки – вот это была бы мне радость. А то всех детей своих растерял по свету.

Он тогда насторожился: неужели прознал? Но отец, очевидно, говорил не конкретно, просто обобщал, смотря на эту проблему с высоты птичьего полёта. Вчера Павлик отмолчался, сейчас тоже: разговор этот для него был неприятен.

Автобус давно ушёл, и Павлик на своё первое и важное свидание с Верой отправился напрямки – идти много дальше, чем до автобуса, но дорога эта им уже протоптана: ходил много раз; а окраины города – вон они, на горизонте. Бывало, пока автобус покружит вокруг да около, Павлик уже на полпути. А сегодня как бы надо спешить и не надо: вдруг да и...

Вера, Вера, она его ждала, – Павлик это понял сразу, когда открыл ворота с петухами: она стояла на пороге, и можно было думать, что стояла она там не первый час; вот и улыбка на лице, но ненадолго: почти сразу же угасла, – подумал, от волнения, от важности момента. Она пошла ему навстречу... Павлик, Павлик, что же ты потерял свой бравый вид, испугался, видно: вдруг да и...

И всё-таки Вера читала его мысли.

– Ждала, ждала, но думала, что придёшь не так рано, – успокаивающе сказала она, – Проходи и при этом не забудь поздороваться.

У Павлика в груди отлегло.

– Здравствуй, Вера, – послушно сказал он.

Они протянули навстречу друг другу руки и опустили не сразу, чувствуя их притягательную силу. А что ещё надо человеку, если думки его собеседником читаемы, и он, собеседник твой, также не скрывает своих симпатий к тебе. Река времени подхватывает их своим течением

и несёт по жизни рядом; и они будут плыть и плыть, согревая друг друга в холодной воде, бороться с бурными водоворотами, чтобы остаться на плаву.

Вера провела его в дом. Как считал Павлик, город и должен быть городом; а он уже второй раз в этом доме и не видит ничего такого, что выгодно отличало бы его, например, от Дуськиного или отцовского. Хотя нет: в доме не было простой русской печки, и это уже о чём-то говорило. Но всё равно ему сделалось так хорошо, как бывает хорошо человеку, возвратившемуся домой после долгого отсутствия.

Она всё предвидела и потому отхлопотала до его прихода: на столе уже стояли, прикрытые газетой, тарелки и тарелочки с едой, небольшой кувшин с компотом из чего-то и даже бутылка наливки, цветом похожая на ту, которой угощал его друзей Степан Степаныч. Вера заметила, что он смотрит на бутылку как на старую знакомую, и пояснила:

– Ты вчера не пил, за рулём был, так я у брата попросила для тебя.

– И ты ему сказала, что я буду у тебя? – удивился Павлик.

– А что в этом плохого? – вопросом на вопрос ответила она. – Скажу по секрету: ты ему нравишься; говорит, что ты серьёзный парень, и толковый к тому же.

Павлик промолчал: такое мнение о себе он слышал не часто. А напряжение, которое они испытывали с самой первой минуты, начинало спадать. Вера пригласила его к столу:

– Присаживайся, Павлик, здесь, – и указала на стул с высокой спинкой, – а я – там, и пока буду принимать тебя как гостя.

На лице Веры засветилась лёгкая улыбка, очевидно, она хотела что-то сказать ещё, но не сказала, а лишь хитровато хмыкнула, при этом передёрнула плечами и села на определённый ею же стул.

– И будем считать, что это у нас день знакомства, – предложил Павлик.

– Будем, – придвигая к Павлику рюмки, согласилась она; потом добавила: – И давай пробовать, чем вас... их Степан угощал.

Павлик налил рюмки, и они тоненько прозвенели, сойдясь над столом. Павлик выпил, Вера сделала всего лишь один глоток; а дальше они закусывали и говорили, говорили, заглядывая друг другу в глаза; и было понятно, что он и она в большом довольстве от общения и никуда не торопятся.

Павлик ещё раз, но уже более подробно, рассказал ей о своей деревенской жизни, считай, со школьных лет; Вера ответила взаимностью, и рассказ её был не менее подробным, но грустным: вышла замуж, через полгода муж погиб в аварии.

– Знаешь, я не поверила, когда мне сообщили, что он разбился. Работал в заготзерно, и с другом поехали на мотоцикле. Куда, зачем они поехали – никто толком не знал. В другом районе на просёлке мотоцикл перевернулся. А он сидел в коляске. Тех двоих отбросило в сторону, его придавило – умер на месте.

На глазах у Веры появились слёзы, она всхлипнула:

– В городе я, наверно, самая молодая вдова. Второй год видеть никого не хочу, а по ночам в подушку плачу: я люблю его до сих пор и всё вожу венки на тот просёлок – там памятник маленький друзья ему поставили.

Она перестала говорить, и в доме сделалось тихо; только будильник на холодильнике, как дома у них, на окне, старательно поддакивал хозяйке: всё так, всё так; потом продолжила:

– Да, второй год ни на кого не хочу смотреть, а женихи вьются. А тут иду по улице и слышу: шаги быстрые – торопится кто-то. И меня как током пронизало: да это судьба моя! И хочется остановиться либо оглянуться, а не могу: кто-то не даёт, думаю, как испытывает меня и вот-вот скажет: «А что, молодая вдова, ты своего мужа забыла уже?» И зареветь я готова была, но стиснула зубы и иду. И так легко мне сделалось тогда; и я совсем поверила: это моя судьба. Вот почему я, Павлик, такая доверчивая с тобой с самой первой минуты. Я сама как поверила тогда, что ты мой, так и в глазах твоих прочитала, что ты мой и от меня без ума, словно любишь ты меня уже много лет и ждёшь меня, ждёшь...

Павлик сидел, потрясённый её признанием: она читала его мысли по глазам. А он, догоняя её на тихой городской окраине, думал об Альке; и также думал, что впереди – вот она, его судьба. Вера встревоженное состояние его принимала на свой счёт, но он-то знал: он догонял свою судьбу. И когда Вера выговорилась, Павлик одним движением придвинул к ней свой стул, взял её руки – они лежали на столе, охваченные мелкой дрожью, и прижал их к своим щекам, подержал их так,

потом поднёс к губам и поцеловал – сначала в одну ладошку, потом в другую; и снова прижал к щекам, закрыл глаза и замер, испытывая прилив большого счастья.

Она нарушила тишину первой:

– Когда мы садились за стол, я сказала, что буду тебя принимать как гостя.

– Да, говорила, – вспомнил Павлик.

– А теперь...

– Понял, – не дал он ей договорить, – всё понял: теперь ты будешь принимать меня как свата.

– Нет-нет, – засмеялась Вера. – Ты хочешь быть мне сватом? Я так не хочу. Давай пока как жениха, – идёт?

– Идёт, конечно, идёт, – поспешил согласиться Павлик; и продолжил: – Но вчера я задал тебе прямой вопрос...

– Я помню, Павлик, помню, – и лицо её посерьёзнело. – Пойду ли я за тебя замуж? А как ты думаешь, если бы я не хотела за тебя пойти, разве позволила бы человеку, которого не знаю, войти в мой дом? Вот тебе и мой ответ: конечно, пойду, милый Павлик, хоть сегодня, потому что, как я уже сказала, увидела в тебе свою судьбу.

«Всё так, всё так», – подтвердил всезнающий будильник.

12

Время неумолимо. Прошли годы; на глазах у Павлика Романова в жизни многое изменилось, да и сам он стал совсем другим человеком: это был уже не Павлик, а Николай Андреевич Романов; и сидел он теперь не в

кабине, за рулём мощного вседорожника с кузовом-будкой, а в личном кабинете, в кресле начальника районных электрических сетей, по-простому – энергоучастка. Единственное, что осталось от прежнего Павлика, как память о прошедшей жизни, – это его нарицательное имя: царь. Царём его называли в глаза; и за спиной нередко слышал сам, как по-доброму или, наоборот, с обидой или упрёками склоняли это имя на дню по много раз. Что делать: царь – он и есть царь, и найдётся у людей тысяча причин, чтобы в нашей жизни земной не забыть его, при этом упуская из виду, что царь земной под царём небесным ходит. Но солнышку всех не угреть, так и царю на всех не угодить.

Павлик Романов довольно удачно нашёл себя в городской жизни, – это после того субботнего дня, когда он дома прилично приоделся и, напутствуемый отцовскими пожеланиями, ушёл в сторону города напрямки, как лось по пересеченной местности. И впервые Павлик не ночевал – ни в родном доме, ни в Дуськином. «Либо нашёл, – хмыкнул отец, убедившись, что и в Дуськиной хате не оставлено следов его пребывания. Не пришёл Павлик и в воскресенье, но отец к такому повороту дел отнёсся весьма спокойно: «Набегается, как кобель, но пусть и в репьях, а прибежит».

Павлик пришёл в понедельник, после работы. Отец сидел на пороге – обстругивал рубанком окосье.

– Видать, пригрели? – спросил он.

– Считаю, что угадал, – спокойно ответил Павлик.

– И как у тебя будет дальше? – отцу не терпелось узнать, что у него и как.

– Плохого, отец, нету: женился я.

– О! – вскинулся отец, и окосье в сторону. – Это как же ты так – сразу?

Павлик улыбнулся:

– Так получилось.

– Вот это дал! – удивился отец. – То никак не оженить, а тут как с цепи сорвался. А со свадьбой-то как?

– Наверно, никак.

– Так не бывает, – и он покачал головой. – Не по-людски это.

– Соберу друзей с работы на вечерок – и вся свадьба.

Отец не спросил, кто она, его жена, что из себя представляет.

– Приедешь – покажешь, – и весь разговор.

Павлик зашёл в дом, поводит взглядом из угла в угол, потом сложил в рюкзак самое необходимое из своих вещей и снова за порог.

– Ты что, уходишь? – спросил отец. – И ночевать не будешь?

– Да, собрался, – ответил Павлик.

Отец уговаривать не стал.

– Ну, смотри, тебе видней, – только и сказал.

И Павлик ушёл – той же дорогой, которой уходил три дня назад на своё первое и последнее свидание с Верой: теперь они жили в её доме вместе.

На работе о существенных изменениях в своей личной жизни Павлик до поры до времени решил помалкивать, хотя особого секрета из этого и не делал: ну, женился, и что тут такого; придёт время – узнают: всему свой срок. Но бригадная братва уже на второй

день устроила на эту тему целый диспут – как только будка не рассыпалась от смеха на ходу. Васёк Гринин специально опустил боковое стекло до самого низу и высунул голову из кабины, чтобы лучше слышать, о чём они там молотят.

– Всё о тебе: говорят, ну и кобель же ты.

– Да уж, – качал головой Павлик. – Как будто они всё знают.

– Друже, – не соглашался Васёк, – в нашем городе все как на ладони..

Павлик разговаривал, а за дорогой следил; машина то влево, то вправо, – объезжал ямы с водой; то тормозил и сигналил, – что за вредная привычка: хозяйская птица так и лезет на дорогу, под колёса. «В лапшу просится», – шутил Васёк, – Ну-ка, царь, поддай газу, чтобы перья полетели». Приехали на объект – монтерская братва вывалила из будки и ну его полоскать со всех сторон, кто на что способен:

– Ну и Павлик, царь зверей, – гоготал по-гусиному: громко, с хрипотцой, Гришка Тёнин. – Надо же, какой скорострельный: приехали к Степанычу – и глазом не успели моргнуть, как он через двухметровые ворота перемахнул!

– Гы-гы-гы!..

Васёк Гринин решил заступиться:

– Не, ребят, он не такой.

И снова:

– Гы-гы-гы!.. Чёрного кобеля не вымоешь добела!..

Гы-гы-гы!..

– Когда?.. Гы-гы-гы!..

Павлик не в обиде, и намёк понял:

– До выходного, точнее, в пятницу, после работы.

– То-то же... Гы-гы-гы!

Гришка Тёнин гыгыкал громче всех:

– Гы-гы-гы!.. Вылитый кобель. Вы слышали, как он всю дорогу пипикал? Это есть у меня один такой же друг. Едем с ним, а он: пи-пи-пи да пи-пи-пи, хотя дорога-то пустая; думал, что пипикалка у него заедает, а он и говорит: мол, я эти места все изъездил, и нет здесь ни одного кустика, под которым бы я с подругами не лежал. И это от меня как победный салют, может, даже и юбилейный, тому месту и тому кусту, где была похоронена чья-то девичья честь... Гы-гы-гы!..

– Гы-гы-гы!..

В пятницу вся эта весёлая компания шумнула в Веркином доме; помогли приковылять и Степану Степанычу, которому в одиночестве сидеть-лежать давно надоело: жена с детьми всё в лагере была. Трудовая братва, – как ветер в саду: шумнула – и до свидания. А в субботу молодожёны провели отца с Дуськой. У отца взгляд сразу размягчал; а когда сели за стол, выпили по случаю, и он выслушал историю Павликовой женитьбы, вовсе расслабился: опрокинул очередной стаканчик и прослезился:

– Я, Павлик, всё ждал, когда ты за ум возьмёшься; и даже иногда думал, что, может, его у тебя совсем нету, так что извиняй меня за это. Ты и дальше стремись жить, как живут все нормальные люди, как Колька, например.

Ставить Павлику кого-то в пример для отца было делом обязательным: ему всегда хотелось, чтобы дети

его преуспевали в жизни и считались не последними людьми. После смерти старших детей он теперь всегда ставил в пример Николая, который был на четыре года старше Павлика.

Дуська с Верой то слушали мужской разговор, то затевали свой и говорили тихо, чтобы им не мешать, и таким образом они просидели за столом не один час. Иногда к Павлику подступало ощущение полного покоя, словно он пришёл домой и ему никуда не надо сегодня идти; а смотрел на Веру – и начинал осознавать реальное сторону своего положения: что в этом доме он уже как гость, и совсем скоро надо будет им отсюда уходить.

– Может, завтра бы поехали, – предложила Дуська, когда они встали и начали собираться в дорогу.

– Не-не, не будем отбивать от дел, – сказал Павлик.

И они ушли в ту сторону, где на горизонте призраком знойного дня маячила городская окраина, на которой отныне он жил. С Верой ему было хорошо; и ничего плохого, что монтёрская братва, называвшая его то царём, то царским угодником, причислила к отряду примаков: Павлик к этому отнёсся спокойно. А Степан Степаныч, который после выздоровления виделся с ним и на работе, и через метровую изгородь из сетки, наставлял:

– Павлух, ты, едрёна корень, особо не обращай внимания: народ всё видит, всё знает, обо всём говорит. Вот скажи, кому было надо: сосчитали, что в нашей слободе на этих несчастных улицах проживают сто пять зятьёв, и ты, выходит, сто шестой. Тебе завтра перекроют доро-

гу в проулке и скажут: мол, ставь, сто шестой, магарыч, иначе не признаем тебя как царя; и будешь ты бегать от нас, как от челяди взбунтовавшейся, чтобы мы тебя в ручье нашем вонючем не извозили.

Степан Степаныч, оказывается, мог говорить и таким возвышенным слогом, не прочь был и пофантазировать. Павлик ему об этом и сказал.

– Не, Павлух, – не согласился он, – я не фантазёр и вижу жизнь, какая она есть на самом деле. А что сказал сейчас – всё образно, но суть, Павлух, в словах моих всегда найдёшь.

Суть его слов проявилась уже через несколько дней, когда Павлик возвращался с работы: на подходе к воротам с петухами наперерез ему, из какой калитки – он не обратил внимания, вывалились трое. Один из них, невысокий, с красным прыщавым лицом, нагло сверлил его сплюснутыми глазками:

– Что же ты, зятёк, без прописки живёшь, а?

Его дружки – тут же: один слева зашёл, другой – со спины.

– А ты знаешь, – продолжал прыщавый, – есть за это особая статья и соответствующее наказание...

– Эй, Сморчок! – услышал Павлик знакомый голос от ворот, – кричала Вера. – Что, неймётся? Стала улица совсем узка тебе ходить?

– А мы ничего, – откликнулся на её голос прыщавый: очевидно, это и был Сморчок. – Мы познаться.

– Я тебя сейчас познакомлю, – И Вера уже рядом. Сморчок отошёл в сторону. – Пошли отсюда и забудьте, о чём мечтали.

Вера их знала хорошо и рассказала ему, что это бичи с соседней улицы, которые денно-нощно шарят по городу в поисках денег или выпивки.

Но в остальном городская окраина приняла Павлика доброжелательно; и самое главное: весьма довольна была своим выбором Вера. Как она ему призналась, при своём выборе не руководствовалась его внешним видом, а просто сердце подсказало: мол, за тобой идёт твоя судьба, которая, между прочим, могла оказаться не очень-то привлекательной. А у Павлика красивое полное лицо, на котором хорошо смотрелись аккуратный нос и небесного цвета глаза, с чёрными пушистыми ресницами; и улыбка у него была какая-то особенная, запоминающаяся: не дежурная, как у многих её ухажёров. И ещё: когда Павлик чему-то удивлялся или в разговоре что-то недопонимал и переспрашивал – интересно так поднимал брови, а по лбу, поперёк лба, пробегали мелкие морщины.

Выбирают женщины; Вера выбрала не глазами, не умом, а сердцем, и оно её не подвело. Время подтвердило, что она не ошиблась в своём решении.

13

Время идёт, время бежит, время утекает. Вот они, земные наши дни: солнце выше, ниже и всё по кругу, по кругу; что на восходе, что к закату – рыжее-рыжее: не солнце это – кобылица в беге стелется над поймами огнистая; вдогонку месяц, словно сосунок за маткой, и

спешит, спешит. Догонит – потолкает острой мордочкой под брюхо, но подхватить соски своими пухлыми губами не успеет: не звёзды это россыпью по полю синему небес, а сосунок-игрун неосторожно расплескал огнистой кобылицы молоко.

А то глядишь: отстал; и много времени пройдёт, пока он снова не помчится по полю синему небес: время идёт, время летит, время утекает. Время впереди нас, время за нами, но только не с нами, потому что на дуду оно не идёт, сколько ни дуди; и за деньги его не купишь. И сколько живёт на земле человек – всё в праведных трудах: главная-то забота у него добывать пропитание, иначе умрёт. Это понимание само приходит к человеку с возрастом, как пришло оно когда-то и к Павлику. А если у человека семья – тут уже необходима заботакратно большая; а в году-то много дней, и у каждого своя забота.

Павлик вошёл в Верин дом и с каждым прожитым днём привыкал к новой для него обстановке, оглядывал все углы и закоулки, запоминая, где что стоит и лежит. Но более всего хотел он постоянно быть с ней рядом; и Вера тянулась к нему: «Павлик, Павлик, Коля, Коля», – слышалось в доме, когда он был не на работе. Но с именами его в один из дней произошла разборка. Вера ему предложила:

– Павлик, давай всё-таки я буду тебя звать, как в паспорте, Колей, – и пояснила: – У нас же скоро будут дети, и как они тебя будут звать: папой Павликом или папой Колей? Давай не будем заниматься словоблудием.

– Давай не будем, – спокойно согласился он, – с сегодняшнего дня.

Но этот памятный момент Павлик не пропустил за просто так:

– Вера, а ведь на земле ещё одним царём меньше стало.

– Кто-то умер? – спросила она.

– Царь Павел Второй, – и Павлик показал пальцем на себя. – Первый же был когда-то.

Вера согласилась:

– Был, был; и одновременно двух царей на престоле не бывает. Долой двоевластие! Но, Паша-Коля, скорее всего, мы хороним простолюдина Павлика.

И они дружно рассмеялись – сами над собой.

Но отвыкнуть от старого имени и привыкнуть к новому у них не получалось: Павлик и Коля боролись друг с другом с таким упрямством, что на них махнули рукой, мол, время всё поставит на свои места; и по-прежнему Павлик и Коля продолжали гулять по дому рядом; и по-прежнему утром приходил на работу и уходил вечером домой Павлик Романов, а получал зарплату Николай.

И простолюдин Павлик домой теперь нередко возвращался со Степаном Степанычем. О чём они только ни говорили в дороге, когда ехали на объекты и обратно или шли от дома и домой. Степан Степаныч много читал художественной литературы, особенно классику, интересовался литературой по электрохозяйству, – в общем, от жизни не отставал и охотно вёл разговоры на эту тему. Но Павлик, как плохой школьник, на таких

диспутах начинал плавать. Мимо Степана Степаныча это не прошло.

– Тебе, милоч, – сказал он однажды Павлику, – с таким багажом знаний идти дальше пока некуда, кроме техникума. Готовь документы и поступай на заочное.

Это был как приказ. Вера брата поддержала:

– И не заметишь, как будешь с дипломом.

Действительно, Павлик не заметил, как проскочили годы учёбы в техникуме на отделении механизации и электрификации сельского хозяйства. А Степан Степаныч продолжал его поучать:

– Поступай в институт, и по своей же специальности. Тебе идёт учиться: науки даются легко, а тут по свежим следам да и пока время не упустил – всему свой срок, едрёна корень.

Степан Степаныч всё также ходил в мастерах; монтерская бригада обновилась, но Васёк Грунин и Гриша Тёнин остались, и они его поддержали, посмеявшись перед отъездом: мол, истратишь золотой запас, и не будет на дорогу – вышлем. Когда провожала Вера – перекрестила его на пороге, поцеловала в носик и сказала коротко и ясно:

– Езжай, Паша-Коля; и хорошей тебе дороги домой. А мы с Ванькой будем тебя ждать.

Ванька, их первенец, забавный карапуз, больше похожий на отца, стоял рядом и весёлыми глазками смотрел на мать, которая, – совсем непонятно: за что? – целовала его отца, как это проделывала она часто и с ним, а последний раз совсем недавно.

Он поехал и поступил; потом по два раза в год ездил на сессии. И каждый раз бригада встречала его с шутками:

– Что, хвостатый приехал? Колись, колись!

Павлик тоже умел шутить:

– Какие хвосты, если я ещё только в школу пошёл, а уже соображал в электрике и радиоделе.

– Это как?

– Просто, – отвечал Павлик и рассказывал, как он с другом, таким же радиолюбителем, среди бела дня умыкнули у бабки Марфы радиолу; да так сумели придумать, что можно было всем только завидовать, какие они специалисты в этом деле. И на радостях, что всё на сессиях складывалось удачно, ставил трудовой братве небольшие магарычки, а это всех сближало в их небольшом коллективе.

Шесть лет институтской учёбы – это шесть настенных календарей: листок за листком, отлетели они, словно гонимые ветром осенние листья у ворот с петухами, и особо красивыми в год Петуха; шумнули – и нет их. А что осталось? От листьев – ничего. Не стало что-то и у человека, но он пока не замечает, что утратил и что нашёл в этом мире добра и зла, порой жестокой несправедливости.

В доме Веры Павлик уже с самых первых дней не чувствовал себя стеснённо, брался за всё, к чему требовалось приложить мужские руки: перекрасил ворота с петухами и поправил сетку на заборе со стороны Степана Степаныча, подладил двери в сарае – плохо закрывались. В деревне он редко брал в руки плотниц-

кий инструмент: отец успевал во всех делах сам, а тут с удивлением отмечал свои способности им работать.

Бывало, Вера стояла рядом – то просто так, то отдыхала от своей домашней работы; и до чего же приятно ей было стоять и смотреть, как любимый её человек опиливает старую яблоню или тюкает в сарае топором! Улыбнётся ему тёплой улыбкой: « Может, чем помочь? » Спросит, хотя знает: какой из неё помощник, если ещё одно дитё в себе носит.

Время – вода: утекает, хотел бы ты этого или не хотел; а, утекая, уносит с собою всё, что на его пути: дома, электрические столбы с проводами, машины, деревья в садах... и людей.

Степан Степаныч заболел как-то неожиданно: ходил на работу, ездил с Павликом в кабине и всё научал его тонкостям монтажного дела не в теории, которую Павлику преподносили в институте, а на практике, чтобы видеть её уже не глазами водителя или рядового монтера.

– Тут, Павлух, едрёна корень, поставить столбы и натянуть провода – это полдела. Ещё на полдела тьма разных параграфов и условий, и если упустишь какой-либо из виду – наживёшь неприятностей целый воз. А за всё в ответе мастер и начальник участка.

И вот Степан Степаныч слёг. Павлик зашёл к нему вечером с Верой. Он лежал на диване, прикрытый лёгким одеялом. В доме было тепло и уютно; и тихо – как показалось Павлику, тишина дома была наполнена тревогами его хозяев. Мария Тимофеевна, с которой они много общались в вечернее время и в выходные дни,

поставила на стол откипевший чайник и небольшие, со стакан, но тяжёлые кружки, с портретами однокурсников Степана Степаныча по институту, – подарок к юбилею. И вообще, Павлик утвердился, что его новая родня всегда гостеприимна; и как бы подтверждая это, Степан Степаныч сказал:

– Мои предки, да и Тимофеевны моей тоже, были большими хлебосолами: кто ни придёт – накормят, напоят и спать уложат.

Они сидели за большим квадратным столом, за тем самым, за которым угощались когда-то монтёрская братва: пили чай, неспешно перебирали новости последних дней, вспоминали уходящие в прошлое советские времена.

– Павлух, едрёна корень, похвались, как отучился. Корочки-то получил? – поинтересовался Степан Степаныч.

– Так точно, – отчеканил по-военному Павлик. – И обмыл.

– Молодец, – как похвалил его Степан Степаныч; и через паузу добавил: – Среди овец...

Потом зачем-то заглянул в свою кружку, словно то, что он хотел сказать, было прописано там, и заговорил снова:

– Я вот никому ещё не говорил, тебе первому, значит: не работник я уже, Павлух. И будет у меня группа инвалидская, вторая, третья – не суть дела, важно, что я уже инвалид. Я с начальником перетолковал об этом и предложил на должность мастера тебя; и обосновал ему: стаж в практической работе в монтажном деле у тебя есть, имеешь высшее образование. Ведь, Павлуха,

так нельзя: человек со специальным высшим образованием, считай, в рядовых рабочих ходит, а начальники над ним – со средним, да и те инвалиды.

Для Павлика это была новость, да ещё какая! Что-то в этот момент на его лице, наверно, проявилось: Степан Степаныч поднял указательный палец кверху и как бы попросил, а может, мягко приказал:

– Но ты об этом пока не знаешь, а?

– Не знаю, – подтвердил Павлик.

Дальше события разворачивались, как предсказывал Степан Степаныч: уже через день Павлик сидел в кабине вседорожника рядом с новым шофёром. А через месяц, без каких либо предварительных разговоров и согласований его вызвали в облэнерго и в личной беседе предложили должность начальника участка. Павлик от неожиданности не знал, что сказать:

– Всего лишь месяц назад я был простым шофёром, всего ничего походил в мастерах..., – начал объяснять Павлик, но его перебили:

– Знаем, знаем. У тебя есть хорошая школа практической работы среди людей низшего звена – это главное. Остальное наработаешь. А люди у тебя остаются те же.

Павлик молчал, и это расценили по-своему:

– Молчание – знак согласия. Вот вам, Николай Андреевич, приказ о вашем назначении; и – счастливой работы в должности начальника.

С ним он и приехал в энергоучасток. Походил по двору, послушал, что говорит народ: никто ни разочка не заикнулся о предстоящей перемене в руководстве.

– Входи, – пригласил начальник, когда Павлик постучал в дверь кабинета. – По какому вопросу, говоришь, вызывали? И меня почему-то не предупредили.

Он молча положил перед ним приказ.

И на другой день Павлик... нет, не Павлик, а Николай Андреевич Романов уже пересядет в кресло начальника участка районных электрических сетей, о чём будет напоминать табличка на двери его кабинета. Новость эта станет темой разговора не только для коллектива энергетиков, но и для города со всеми его окраинами. А для самого Николая Андреевича это означало, что теперь у него начиналась как бы другая жизнь, в которой люди будут смотреть на него в любом деле, в любой жизненной ситуации, касающейся, в первую очередь, трудового коллектива и затрагивающей интересы города и села: что сделает и что скажет или прикажет? И какой он сегодня, с той ли ноги встал? И будут ловить любую новость из его семейной жизни, а они как раз не заставляли себя ждать.

Однажды перед обедом в ворота энергоучастка вошла молодая и довольно красивая женщина: среднего росточка, чёрная чёлка из-под сиреневого платочка, до бровей, круглое личико. Спросила начальника – указали на дверь кабинета. Вошла, прикрыла дверь, и никто бы не смог сказать определённо, кто она и откуда, что привело её сюда и с чем ушла; и только увидели бы, что уходила женщина со слезами на глазах. Но, к сожалению, дверь за собой она прикрыла не совсем плотно, так что разговор незнакомки и Николая Андреевича не стал секретом.

Это была Алька. словно морская солёная волна к берегу, прихлынули к нему картины их прежней жизни, когда они не представляли жизнь друг без друга и радовались каждому часу, проведённому вместе. Волна прихлынула и откатилась, и снова пустынный берег и не совсем размытые следы по кромке откатившейся воды, Она стояла у порога – робкая, какая-то незащищённая и словно обиженная, взглядом своим и всем своим видом просящая пожалеть. Павлик пожалел:

– Проходи, присаживайся.

Алька отошла от двери, но не села. Он молча смотрел на неё; она ждала, что он скажет ещё. Он ничего не говорил, продолжал молчать. Тогда заговорила она:

– Я пришла на тебя посмотреть.

– Смотри, – холодно сказал он.

– Я тебя всё люблю.

Он молчал, потому что не знал, что сказать: он любил другую женщину, заслонившую своим образом ту, которую он когда-то любил и все свои надежды на дальнейшую жизнь связывал только с ней, и которая его любовь отвергла, а через много лет снова пришла к нему.

Альке молчание давалось с трудом: ей надо было выговориться, потому что за годы без него в её душе накопилось много чего важного именно для неё, а выплеснуть всё это наружу было некому. Как и тогда, после армии, потом в Дуськиной доме, он услышал:

– Павлик, прости. Ну, дура я набитая; я понимаю, что я наделала...Павлик, прости... Ну дай мне ещё шансик, Павлик, маленький хотя бы. Я поняла,

прости, я мразь, и какая... милый, ведь я тебя любила и люблю...

Все эти слова, от которых он когда-то взлетал на седьмое небо и там умирал от счастья, сегодня для него были чужими: словно сидит он где-то в одиночестве, тоскует по любимой женщине, а рядом стоит магнитофон, из которого они доносятся уже много-много раз, и говорит их Алька. Но самое главное: перед ним стояла Алька, а ему казалось, что стоит перед ним не она, а его Вера, и тоже слышит магнитофонную запись.

Павлик для неё был уже не Павлик, а Николай Андреевич Романов, о чём говорила не только табличка на двери кабинета, но и внешний вид хозяина его – холодный и неприступный, словно каменная стена. Только теперь Алька начинала это понимать, хотя, направляясь к нему, думала иначе.

– Как сын? – спросил он; Ванюшка – это было единственное, что между ними теперь оставалось и могло их сблизить.

– Вырос почти, – с трудом ответила она: говорить мешали слёзы. – А ты как?

– Нормально, двое детей, – ответил он; и спросил: – Тебе чем-то помочь?

– Ничем... пока. Муж инвалидом стал, получает пенсию и прирабатывает ещё.

– Я буду помогать, – сказал он.

– Не надо.

– Как знаешь, но зря.

Наконец Алька почувствовала: между ними стена – холодная, ледяная глыба, которую не пробить стенобит-

ной машиной, не взорвать и не растопить. И она пошла к двери; у порога повернулась:

– Посмотрела на тебя – и полегчало. Но ты не думай, что я совсем плохая. Я из-за любви к тебе пожалела его, а к тебе пришла из-за нашего сына: он же твой наследник, царской крови.

И скрылась за дверью.

14

Жил-был в соседней деревне такой-этакий старичок по прозвищу то ли Калиган, то ли Калган. Никто теперь не скажет, от чего оно произошло, но вот в незапамятные времена в Тамбовской и Рязанской губерниях, а может и в Орловской, так называли самодельковую деревянную чашку. А может, у его предков была такая фамилия – поди узнай теперь. Но в старичке этом что-то было, было от топорной работы того далёкого времени: сухонький, скрюченный, жёлтый весь, как стручок акации к концу лета; а ходил котушком.

В барском саду, что всего и оставалось к тому времени на этой земле памятью от тех лет, корчевал он, бывало, старые-престарые яблони и груши, пилил их и возил на тачке домой. А то глянешь: корневище тянет, а самого не видно – под ним, значит; и дорогой, дорогой. Издалека смотреть: здоровенный паук пробирается к деревне – берегись, народ!..

До самого смертного часа пугал деревню таким образом, а срок пришёл – лёг на топчан, возле печки,

руки сложил и говорит бабке своей: «Ну, всё, старух, кажется, отработался; чую: смертушка моя пришла и стоит, на меня смотрит, – значит, ждёт, когда я глаза свои закрою».

Пришёл к нему Лось, тоже старик, здоровый, крепкий, с такой вот лесной фамилией; а сам – с палкой. Бабка ему на старика своего показывает: мол, смерть зачуял рядом и залёг, а она не уходит: ждёт, когда он глаза свои закроет, чтобы его забрать.

Лось-то – хлобысть палкой по лежанке; а Калиган на него:

– Ты что пугаешь?

– Я не тебя, я смерть твою намахнул. Вставай.

Встал Калиган и ещё одно лето в барском саду учинял самый настоящий разбой: целый ряд старых яблонь попилил и перетянул к дому, порубил и все истопил. И корневища выкорчевал – одним орудием труда: лопатой, а ямы потом заровнял. Давно это было: Павлик только в школу пошёл; а туда бегал смотреть, что этот стручок-старичок творит-вытворяет.

Через год всё повторилось: Калиган снова залёг на топчан; пришёл Лось, намахнул по лежанке своей, как все тогда думали, волшебной палкой, но Калиган так и не встал: видно, смерть на втором разе не испугалась и не ушла. Ночью он глаза закрыл и уснул, а смерть подумала, что умер, и забрала его с собой. Куда? На тот свет.

Когда Калигана хоронили, Павлик с братом бегали смотреть, каким его забрала смерть и как он будет лежать в гробу, да опоздали: крышку уже прибили гвоздями, и гроб опускали на рушниках в могилу. Когда

шли с кладбища, бабки всё говорили, что прожил он почти сто лет, и столько в нём было жизненной силы, что смерть его не брала: мол, такой не угоден ей на том свете, хотя сам он был смерти как бы сродни – такой же костлявый. Вот что значит, если смерти воля дана: всяк умрёт, если она придёт...

Отец позвонил как раз под конец рабочего дня: умер Колька. Прошла неделя, как отметил дату: сорок пять лет жизни своей. Цвела сирень, набирала силы жизнь, а у брата получилось всё наоборот: её забрали. Сели с Верой и детьми в служебную машину и поехали в деревню – там забрали отца с Дуськой. Ехать далеко, но к вечеру уже стояли у Колькиного гроба. Побритый, искупанный, он лежал во всём новом, словно приоделся ехать к ним в гости: рубашка тёмненькая, однокатная, костюм, а сам – как живой.

– Что с ним случилось, мы не знали, – рассказала сквозь слёзы жена. – Оделся, взял ключи от машины – ехать на работу, и ещё не сел в неё – захрипел, захрипел... Возили... сказали: тромб оторвался.

Чувство потери чего-то дорогого охватило Павлика, как только получил он известие о его смерти. Они виделись редко, но тем радостней были встречи, и, чувствуя родную кровь, тянулись друг к другу, особенно после смерти матери. И теперь из всех детей семьи Романовых Павлик оставался один.

Обговорив первоочередные похоронные дела, они решили там не оставаться и уехали домой, чтобы завтра вернуться. Уже в машине отец сказал: «Старшие родились с разницей в один год и умерли также; мать умерла в сорок

пять, и он вот в сорок пять. Как рок какой преследует семью; а на смерть детей не нарожаешься».

«В сорок пять, – подумал Павлик, – и я вот иду к сорока пяти. Значит, и мне уготована такая участь: дожить до сорока пяти и умереть». И чтобы он потом ни делал после похорон, в какой-то момент наступала критическая минута – и начинала одолевать его смутная тревога, точнее, не тревога... в общем приходило ощущение близкого края пропасти, которую ему не миновать. И думки роем в голове: мол, вот сколько прожил на земле, – и, кроме бабки Марфушкиной радиолы и Аркашкиного велосипеда, чужого никогда не брал и ничего не поднакопил про чёрный день. И кто он есть и откуда? Иногда думал, что людей подселили на эту землю, чтобы испытать, какие они есть стойкие и вообще, что из себя представляют как люди и чего стоят.

Однажды не выдержал своих душевных переживаний – рассказал жене. Вера потрепала его густую шевелюру, начинающую поблёскивать ранней сединой, и успокоила:

– Не выдумывай. Последние дети живут долго.

– Последние, может, и долго, – в раздумье произнёс он, – но только не цари – присмотрись к датам их жизни и смерти.

Она его обняла, прижалась к нему:

– Это что же, собираешься от меня уйти, чтобы я во второй раз вдовой осталась?

Вера спросила так жалостливо, что Павлик почувствовал, как по спине его пробежали мурашки.

– Нет-нет, – поспешно сказал он, – как же я оставлю тебя одну..., – и через секунду добавил: – Кому-то на пропитание...

А дни, словно листики настенного календаря: отлетали и отлетали; и вот он, год его сорок пятый, о котором думал постоянно и которого побаивался всё-таки. Смертей вокруг него много: умирали люди своей смертью – это долгожители, которым было по восемьдесят-девяносто, но их были единицы; а всё больше хоронили молодых, как вот брат его Колька; гибли в авариях, умирали от болезней, которые хватали людей, как заложников, и убивали без жалости; да и люди от неустроенности своего быта начинали звереть и вести себя по-разбойному. А у него – опасная зона, и любая ошибка на производстве в обращении с электроэнергией, любое нарушение правил техники безопасности может приблизить роковой день.

Рядовой сорок пятый Николай Андрич Романов отметил скромно: в саду поставил длинный стол, пригласил Степана Степаныча с Марией Тимофеевной, соседей с другой стороны и невесело подумывал, что это будет как бы прощальный обед перед его уходом в небытие. Обозначали тосты за многие лета его, желали долголетия и здоровья все, в том числе и дети; и ему так хорошо и сладостно их было слушать, что в груди начинала прорастать, словно зёрнышко, брошенное в тёплую и влажную землю и лежащее там до поры до времени, уверенность в своё предназначение: мол, всё образуется – всё, всё, всё, и он будет жить.

И тут же он решил свои думки доверить Степану Степанычу. На перекуре, когда гости, как яблоки,

рассыпались по саду, разминая руки-ноги, они отошли от стола чуть в сторону, и Николай Андреич осторожно, в общих чертах, рассказал ему о своих предчувствиях.

– Это злой рок какой-то преследует нашу семью, – тихо, чтобы не слышали проходившие мимо, говорил он. – Мать умерла в сорок пять, брат Колька – в сорок пять, и теперь моя очередь.

Степан Степаныч удивлённо посмотрел на него: брови – вверх, глаза округлились.

– Ты, едрёна корень, выбрось из головы эту хренотень, – сурово сказал он. – И запомни, человек: не бойся смерти тела, а бойся смерти духа своего; а это тот самый случай, когда ты пал духом, но, к радости твоей и нашей, ещё не умер – ни духовно, ни телесно.

Праздничный не только для него, день давно остался позади. После Колькиных похорон Павлик стал чаще бывать у отца, который тяжело переживал смерть сына и сильно сдал: осунулся, походка сделалась шаркающей, руки, когда-то крупные, жилистые, теперь усохли, да и сам он весь заметно схудал, так что все его одёжки стали ему свободны.

– Мне, Павлик, дальше жить на земле – большой грех, если своих детей переживаю. Либо мне наказание какое за неправедные дела, – предположил он, когда Павлик, а он не переставал его звать Павликом, в очередной раз приехал домой. – И умер бы, да Дуську жалко. Я с нею прожил больше, чем с матерью. Останется одна – плохо будет: людям на земле по одному труднее жить; а там, – и указал пальцем на небо, – не

знаю, может, там, как при коммунизме, на всём готовом будем жить.

Дуська то молчала на такие речи его, то украдкой смахивала фартуком слезу и поясняла, в разных вариантах: мол, духом пал и заговариваться начал, всё о смерти и о смерти говорит. А сама по сути к этому же пришла:

– Что о ней говорить? Все люди смертны и всем один земной конец.

Отец умер, как Калиган: лёг, что-то пробормотал сухими губами, а когда Дуська подошла к нему, слабым голосом попросил попить. Она взяла кружку с водой, помогла ему приподнять на чуток как-то сразу отяжелевшую голову; он выпил глотка три и, довольный, улыбнулся ей тускнеющим взглядом, словно в нём, как в электрическом фонаре, истрачивала последние запасы батарейка.

«Прежде смерти не умереть, – подумал Павлик. – Но теперь моя очередь». Все вопросы, касающиеся отцовских похорон, Павлик порешал сам: организовал копачей, указал, где рыть могилу. Выбирая место, задумался: с матерью он хотел лежать рядом или с Дуськой, с которой прожил годов побольше? Ему отец наказания никакого не давал, и Павлик поспрошал у Дуськи.

– Говорили, – сухо ответила она, – Со мной соби-рался лежать, мол, ту теперь мало кто помнит, а я – последняя.

Но Павлик решил по-своему: могила матери была по левой стороне кладбища, в крайнем ряду, а дальше росли деревья. Он при помощи бензопилы и топора расчистил место ещё на две могилы, обозначив его

колышками. Это означало, что там будут лежать в рядок мать, потом отец, а по другую сторону от него, когда придёт время, ляжет Дуська: как шёл по жизни с ними бок о бок, так и будет покоиться с ними.

И всё было, как на похоронах матери. Павлик шёл за гробом, и всё происходящее здесь напоминало ему сон, который он когда-то уже видел: люди с венками, плывущий над дорогой гроб и ещё люди позади него, и среди них – Алька. Не слышно было только плакальщицы Нюски: она уже лежала на том кладбищенском бугру, хотя была моложе Шлёпногои Романова на много лет.

Как же коротка человеческая жизнь! И сколько живёт на земле человек, столько и озабочен разными заботами. Самая главная из них – добыть для себя кусок хлеба, съесть его и усвоить, чтобы жить дальше. Кто теперь скажет, когда и в какой день человек взял в руки палку и убил зверя: есть-то хотелось, особенно мяса. Выходит, что земная жизнь требует от человека постоянного движения, а ещё чувств: движение – это жизнь, а чувства определяют, каким ты будешь в жизни. Чувств человеческих много, и, плоть от плоти, все они важны, так как дают возможность сознательно воспринимать проявления внешнего мира: всё видим, всё слышим, чуем, вкушаем, ощущаем, – всё это чувства внешние, которые угождают плоти человека.

Но есть побудка сердца, когда внутри человека просыпаются чувства, находящиеся до поры до времени под спудом, как, допустим, любовь или ненависть, жалость или обида, совесть или гнев, или... Но жизнь-то человека коротка, а погудка долга; и это всё – тоже

философия жизни, которая присутствует в каждом человеке, будь он строгой жизни, с присущей ему высокой нравственностью, или шалтай-болтай, который не обременён житейскими заботами и грезит уладами, повторяя, как молитву: «Отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая».

Николай Андреич Романов не из этой, не из последней колоды, и всё, что он делал и к чему стремился, несмотря на какие-то трудности, приносило ему удовлетворение. В доме у него порядок во всех отношениях: зять – зятем, а обязанности главы семьи Вера без какого-либо стеснения переложила на его плечи. С прежней своей работой рассталась, как только стала жить с Павликом, а работала она оператором на почтовом отделении. Работа отвратительная, для здоровья вредная, и даже если бы выдавали за вредность молоко, всё равно не защитило бы оно человеческий организм. С работой в городе было невероятно трудно, но каким-то путём помог всё тот родной братик, устроив её в охрану дорожного участка: сутки работает, двое – дома.

Дети – особая статья, и Вера крутилась как белка в колесе, чтобы вписаться в тот круг обязанностей по их воспитанию. Ясно-понятно, как божий день, что не в стороне был и глава семьи, который со своими обязанностями всегда справлялся, и ни у хозяйки, ни у детей не проявлялось никаких отрицательных эмоций в его сторону. Заканчивался рабочий день – и Николай Андреич Романов, как примерный семьянин, спешил к воротам с красными петухами. Через час-полтора, то

есть после вечернего перекуса, слышали соседи из его сарая или за домом какие-то тюки-стуки, а то бензопила гуднёт, ещё какой-нибудь шум – так повелось в этом доме с того дня, как Николай Андреич, назвавшись Павликом и расположившись по-царски, проснулся в нём впервые.

Счастливая Вера, не долго думая, осчастливила и его: в положенные сроки родила ему сына, как он и хотел; а потом и дочку – для себя. Сына назвали Иваном; и когда обговаривали, какое имя ему дать, Вера назвала его первым. Павлик был человеком открытым, тем более, как он считал, у него от Веры не должно быть никаких секретов; и рассказал, что невеста не просто кинула его, а унесла с собою его сына, которого также назвала Иваном. « Унесла, – значит, унесла, – сказала тогда Вера. – Я тебе, считай, твою потерю возместила». «Ценю», – сказал радостный Павлик, обнимая её, держащую Ваньку на руках.

Через год Павлик забрал из роддома жену вместе с дочкой.

– Ванюшке я дала имя, – сказала она. – Ты даёшь имя дочери. – Но сразу же предупредила: – Только не называй Алькой: не хочу, чтобы дочь носила имя оби-дчицы моего мужа.

Он предложил назвать её Катей, и Вера согласилась. Вот они – о чём-то рассуждают с матерью на кухне, уже взрослые: закончили школу и ушли учиться дальше. А сегодня выходной, и они приехали домой: с родителями им всегда в радость – расскажут, что интересного в их учёбе, кто как учится, словом, о своей

жизни. Павлик смотрит на них... Вообще-то, он давно не Павлик, и своё царское имя в этом доме не скрывал с самого первого дня. Вера попробовала называть его Колей-Николаем, и у неё это как-то не привилось. Потом был ещё заход:

– Павлик, а зачем тебе это имя, если про твою честь своё у тебя есть? И, я бы сказала, хорошее: Коля; а по-царски Николай.

Павлик рассмеялся:

– А зачем ты меня сейчас Павликом назвала?

– Наверно, привыкла.

– Правильно. И я привык отзывать, и все, с кем общаюсь: Павлик да Павлик.

Когда он жил в родительском доме и в семье было два Николая, по любому вопросу могли возникать неясности. Теперь брата не стало, но и жить с этим именем ему казалось невозможным. Однажды, разговаривая на эту тему, он признался:

– У меня появилось такое ощущение, словно я присваиваю его имя себе. Ты понимаешь: я становлюсь живым покойником – как это тебе? А к Павлику я привык; седой уже, а люди мне, как ребёнку: Павлик да Павлик, Степан Степаныч вот Павлушей величает. Жалко расставаться с Павлушей.

– Да я понимаю, Павлуша, золотой ты мой, – приласкалась к нему Вера. – Но, думаю, дети должны тебя звать правильно, да и я буду стараться показывать им пример. Так что отзывайся, когда мы захотим поговорить с Колей, ага?

– Ага, ага, – шутливо согласился Павлик.

На работе все общались с ним как с Павликом, пока на дверях кабинета начальника участка не появилась табличка: Николай Андреевич Романов. И всё образовалось само собой: в коллективе не стало мастера Павлика Романова, словно пришёл новый начальник и единым росчерком пера уволил его за прогулы, а место в кабине, рядом с шофёром, занял другой человек, над которым монтёрская братва также весело подшучивала, если не острее.

Всё у Николая Андреича складывалось неплохо, но думки о том, что злой рок преследует семью Романовых на протяжении всей её жизни, не давал ему покоя. «Вот и отца не стало, хотя он умер как бы в свои годы; мать – в сорок пять, брат – в сорок пять, и мне по всему в сорок пять – моя очередь...» С думками этими он пошёл к нотариусу – оформлять наследство. Дуська от дома отказалась: сказала, что у неё есть свой, и чтобы оформлял на себя. «Мне таскаться по конторам на старости лет негоже. Забирай все бумаги и делай что хочешь. Будешь дом продавать – уйду в свой, нет – останусь доживать в нём», – такими были её последние слова, когда они пришли с кладбища.

Нотариус, женщина уже пожилых лет, какая-то худосочная, с бледным нерусским лицом, рассеянно посмотрела на него, как бы думая о чём-то другом, взяла пакет с документами, потом запросила паспорт и стала их изучать. Где-то через четверть часа разболтанно зашлёпала выдавая виды пишущая машинка – так в деревне, ещё в детстве, курица у порога клевала рассыпанные матерью зёрна: не спеша, по зёрнышку, по

зёрнышку да с оглядкой, опасаясь по всему, что кто-то может, к ней подкравшись, выдрать перья и испортить её девичью красу.

Павлик уже начинал под это шлёпанье подрёмывать, но стук прекратился: очевидно, курица подобрала всё, что было рассыпано, или просто сумела зобик свой набить. «Распишитесь тут, тут, тут, – и указательный палец, с острым крашеным ногтем, заскользил по бумагам. – И вот вам квитанция, что уплатите за работу, – в ней, кстати, тоже надо расписаться; и вот ваше свидетельство о праве на наследство и паспорт, и остальные ваши бумаги тоже».

Павлик отсчитал деньги; свидетельство, квитанцию остальные документы сложил в пакет, паспорт – в карман и благополучно отправился домой.

– Оформил? – спросила его Вера, когда он появился на пороге.

– Да, – ответил Павлик и положил пакет в ящик письменного стола.

Вечером они смотрели телевизор, утром заспешили на работу; и только на другой вечер Вера вспомнила о документах и решила посмотреть на свидетельство и почитать, что в нём написала, как сказал Павлик, чудаковатая нотариус. Она, как и чудачка из нотариальной конторы, подозрительно долго его изучала, потом весело рассмеялась:

– Покойничек, иди-ка сюда. Ты хоть видел, что принёс? Ты посмотри на это, – и она помахала у него перед глазами свидетельством. – Ты почитай, что тут написано.

Павлик взял у неё свидетельство и тоже долго не мог понять, в чём дело; но потом врубился: получалось, что наследником стал отец, а умерший – Николай Андреевич Романов.

– Вот и умер ты, Николай Андреевич Романов, о чём гласит сей документ, – шутила и шутила над ним Вера, до единой буковки выговаривая его фамилию и отчество. – Вот к тебе и смертушка твоя объявилась; и хотела было увести тебя за собой, да промахнулась: вместо тебя забрала отца, а значит, документ сей надо переделывать...

Николай Андреич долго не ложился спать. Выключил свет и всё сидел у окна, облокотившись на подоконник, и думал о том, что жизнь обусловлена не только питанием и усвоением пищи; что от рождения до самой смерти жизненное дерево питает родная земля, на которой оно произрастает. И если крепко держит она корни этого дерева, значит, не угаснет его жизнь, со всеми земными прелестями.

В доме сложилась тишина. Через приоткрытую форточку сочилась ночная прохлада; крупные звёзды доверчиво заглядывали в окно, словно хотели увидеть человека, испытавшего за свою, в общем-то, не долгую жизнь уже немало земного горя. И Николай Андреич в какой-то момент понял их родственные души: сел на стуле прямо, расслабился, по-царски осветил лицо улыбкой; и вдруг впервые в жизни почувствовал всем своим существом, насколько сильно он хочет жить, и жизнь у него будет долгой.

1 ноября – 31 декабря 2017 г.

д. Васильевка

Урунечка

Рассказ

1

Нину Васильевну она встретила на улице. Шла себе и шла в редком людском потоке: люди – рядом, люди – навстречу, лица – то весёлые, то озабоченные. И вдруг что-то знакомое в облике человека, идущего навстречу. Память сразу выхватила из прошлого, из школьных лет: Нина Васильевна, её математичка! Да, она, но только годы сделали своё дело – поседела, состарилась. И Нина Васильевна долго не гадала, кто это остановил её на городской улице:

– А ты Нина Тютчева.

– Ирина – уточнила она.

– Да, Ирина, – поправилась Нина Васильевна. –

А ты всё такая же, как школьница.

Ирина стояла перед ней в красивых сапожках, в модной шляпке, в меру прикрывающей чёрные выющиеся волосы; а годы, оставшиеся позади, не испортили и девичьей фигуры – такая же стройная, как бы аккуратненькая. Ирина часто вспоминала ту случайную встречу со своей учительницей, и каждый раз память возвращала её в прошлое – туда, где она была маленькой девочкой, потом вела её по школьным коридорам

и до самых недавних дней, словом, вспоминалось всё из её прошлой жизни. Очевидно, так устроен человек: потяни за ниточку – и высветится, как на экране, всё, что оставило когда-то в его душе заметный след, и совсем не важно, хорошее это было или плохое.

* * *

В комнате тепло и тихо. Солнце на стене, над кроватью, косячком, – значит, уже пора вставать. И как бы в подтверждение этого доносится с кухни:

– Ирунечка, пора вставать: в школу проспидишь.

Это бабуля, и так она её зовёт. Дедули не слышно – куда-то ушёл. Дедуля, бабуля, бабулечка – так ласково внучка называет их. Ирунечку с трёх лет они взяли на воспитание, и мать не возразила, посчитав, что в сложившихся обстоятельствах так будет лучше: сама тяжело заболела, а бабушка плохому не научит.

Ирунечке с ними хорошо: утром помогут собраться в школу, накормят и по-доброму проводят и встретят также; а бабуля всё с шутками-прибаутками, да ласково так. Бывало, купает её и всё приговаривает: «Ирунечка, ты моя, давай ручку потру, теперь давай ножку». Наверно, до десятого класса вокруг неё с мочалкой пританцовывала. Очевидно, бабулина душа в такие минуты испытывала сладчайшее волнение, потому что не выпало ей счастье так вот купать свою дочку – помешала война. И часто рассказывала она, как спасала единственного сына от немцев: убегала в лес с ним на руках, а из вещей – ничего, из продуктов – одна буханка хлеба.

И всё не востребованное в своё время бабулечка отдавала внучке, и каждый раз откровенно признавалась: мол, Ирунечка, ты моя, ты как я, потому что я себя всю вложила в тебя. И много позднее Ирунечка признается сама себе, что бабушка-бабулечка всегда понимала тонкую внучкину душу как свою.

Ирунечка подрастала, а взаимоотношения у неё с бабулей оставались такими же; и одинаково они оплакивали умершего дедулю, хотя, конечно, бабулечке было намного тяжелее от такой потери: вся жизнь у неё с дедулей прожита, как она говорила сама, рядком да ладком.

Вместе с тем город начинал привлекать Ирунечку к себе. Одетая в своём вкусе, в наряде простеньком, но броском, она ходила по его улицам, радуясь погожим дням, людям, с их удачами и заботами, заставляющими куда-то спешить, и в то же время отмечая, что встречные с каким-то интересом смотрят на неё, а отдельные провожают взглядом алчного человека. Вот идёт Ирунечка – чёрная мини-юбка, белая кофточка, черные волосы – до плеч, завитушками и мокрые, это после неожиданно налетевшего дождя; и навстречу – с таким взглядом, остановился перед ней и как выдохнул:

– Вот это да!.. Вот бы...

– Хам!

Она даже не остановилась, ветром – мимо него. А дальше снова люди, уже другие: идут, идут – чему-то улыбаются, что-то друг другу рассказывают. И всё это – жизнь, многоликая, а потому и интересная. Вот и школа осталась позади, со своими правилами – писаными неписаными, когда за тобой постоянно приглядывают

учителя и подсказывают, как тебе следует вести и во что одеваться, пусть даже ты и круглая отличница.

– Ирунечка, что теперь будем делать дальше? – спросила её довольная бабуля, – С твоим аттестатом надо идти учиться дальше.

Ирунечка прижалась к ней, обняла и ласково-ласково, как это она умела, прошептала:

– Бабулечка, хочу работать, а учиться буду заочно, ладно?

Ирунечка знала, что говорила: в их общих разговорах бабуля часто утверждала, что вот отучиться её внучка и пойдёт работать, и обязательно секретаршей. Почему именно секретаршей – не объясняла; и оставалось только догадываться, что сердобольная бабуля видела в ней какие-то данные, которые, по её же мнению, необходимы именно для этой работы.

Ирунечка бабулю не разочаровала: поступила на заочное отделение строительного техникума – профессия техника-строителя, как она посчитала, была именно для неё, а ещё подыскала работу – в сметном отделе института «Гипроприбор». И это была уже другая жизнь – взрослого человека, наполненная событиями разной значимости, и, самое главное, она была не менее интересной.

2

Сметный отдел жил своей обычной жизнью: с утра – ворох новостей, потом каждый за своим столом делал своё дело. Ирунечка – тоже. Все – опытные, смотрятся

солидно, и лишь одна она самая молодая – о какой солидности тут говорить.

В отдел зашёл он перед самым обедом.

– Парторг Валерий Вениаминыч, – шепнула ей сидящая за соседним столом Светка Афонина.

Вообще-то, Ирунечка его видела в отделе уже не один раз: он быстрыми шагами проходил к столу начальника отдела, в руках всегда пухлая красная папка или кипа бумаг, которые он перелистывает на ходу, никого не замечая. Ирунечке хотелось на него смотреть: высокий, фигура спортивная, и всегда при костюмчике, рубашка с галстуком; и не только ей одной хотелось – вот он, мечтательный шёпот всё той же Светки:

– А что хорош...

Валерий Вениаминыч и на этот раз не изменил себе: всё на нём было с иголочки, тот же светлый костюм, и синяя рубашка с галстуком. А вот пошёл не прямо к начальнику отдела, между столами, а вдоль стены, это чтобы все сотрудники видели его не со спины. У Ирунечки замерло сердце: он проходил рядом... А Валерий Вениаминыч вдруг остановился возле её стола, посмотрел на неё, словно почувствовал, что вот сидит человек и умирает – остановилось сердце, и человека надо спасать. И он выполнил эту благородную миссию:

– А это что за ребёнок? Новенькая? Как звать?

– Ирина, – ответила она, а голос еле-еле.

– Понял, – улыбнулся Валерий Вениаминыч. – Так вот, Ирина и все остальные, кто слышит и не слышит меня здесь: завтра отъезжаем в колхоз на заготовку сена. Уточняю: на две недели. Что для этого надо? Ясно, что

быть в рабочей одежде, а ещё иметь всё необходимое, в чём всегда нуждается человек в командировке. – И как бы подвёл итог: – Вижу, что меня поняли все. Сбор на железнодорожном вокзале в восемь утра. Повторяю: в восемь утра. Ответственный за решение оргвопросов – начальник отдела. Вопросы есть?

Вопросов не было, и Валерий Вениаминыч ушёл. На другой день всем отделом погрузились в электричку, а через полчаса с шумом-гамом вывалились из вагона на станции и также весело сели в колхозный автобус, ожидающий их на привокзальной площади. Ещё через двадцать минут они были в колхозе, где предстояло им прожить в качестве шефов. Автобус привёз их к небольшому двухэтажному дому, первый этаж которого занимали несколько семей колхозников.

– Второй этаж в вашем распоряжении, – пояснил сопровождающий их главный агроном. – Сегодня решаете все бытовые вопросы, а завтра на работу.

Собственно, всё обустройство сводилось к одному: привезли на грузовике сена и застелили полы, где они должны были спать; а за домом, чуть в стороне, определили место и оперативно повесили умывальники. Валерия Вениаминыча с ними не было ни в вагоне, ни в автобусе – говорили, что решает вопросы с колхозным начальством, расселяет ещё два отдела, подъехавшие с обеденной электричкой. У них появился он уже перед вечером, когда всё определилось и каждый облагородил для себя спальное место.

– Вот и молодцы, – похвалил он, обходя комнаты. – В экстремальной ситуации выжить сможете.

Валерий Вениаминыч говорил, а у Ирунечки, как и в тот день, в отделе, сердцу становилось беспокойно. Она ловила каждое его движение; и казалось, что каждое его слово адресовано только ей одной, и все они были тёплыми-тёплыми, проникали в самое сердце и волновали, волновали...

Дни стояли погожие – было солнечно и почти безветренно. Сметный отдел в полном составе утром отмечался в столовой и до обеда с вилами – на неудобьях, где траву косили вручную: поднимали на крутых склонах прибитые недавними дождями рядки, ворошили поднятые ранее. Ирунечка работала на пару со Светкой – сдружилась с ней с первого дня. Работалось легко, где рядки были жиденькие; а где погуще – приходилось попотеть, хотя они особо и не напрягались: то поработают, то, глядя на других, посидят на том самом рядке, поговорят.

Светка от Валерия Вениаминыча была в восторге.

– А хорош, – почему-то переходя на шёпот, словно доверяя свою великую тайну, говорила она. – Красавец мужик, нечего сказать.

Ирунечке казалось, что, не опереди её Светка в разговоре о Валерии Вениаминовиче, она, наверно, говорила ей точно такие же слова, нашла бы и ещё много других – таких же теплых, как этот день, и ласковых-ласковых.

И всё-таки к вечеру подступала усталость; но она каждый раз улетучивалась, когда за домом, в парке, начинала гуртоваться местная молодёжь и голосистая гармошка звала их, звала к себе. Ирунечке казалось,

что это зовёт её к себе Валерий Вениаминович, и она спешила туда как на праздник. Всё верно, это звал он: Ирунечка ещё не успевала оглядеться в смешении местных и городских, а Валерий Вениаминыч уже вот он, рядом – обо всём говорит, рассказывает городские новости, приглашает на танец.

Ирунечка счастлива, как никогда: тайные мечты её сбываются! Она обратила внимание, что Валерий Вениаминыч стал бывать у них чаще: то с утра заглянет и просто спросит, как спалось, то обнародует, чем их сегодня будут кормить в обеде, то просто пройдёт мимо с бригадиром – начальство всё-таки, парторг, а Ирунечке при этом кажется, что сам он всё косится, косится в её сторону.

– Чегой-то он нам докладывает, чем нас кормить будут? – стала разгадывать Светка. – Либо на кого глаз положил.

В один из вечеров в парке непривычно тихо – то ли гармонисту было недосуг, то ли местную молодёжь перед вечером напугал погрозившийся из-за Неручи дождик; и городской народ, не захотевший рано укладываться спать, разложил за домом костёр. Одни сидели возле него и вели разговоры на всякие темы, другие стояли рядом, за их спинами, ходили вокруг да около. Потом зазвучала песня. Валерий Вениаминыч рядом с Ирунечкой, и ещё друг его Сергей Иваныч, и Светка тоже тут – она каждый раз старалась быть поближе к парторгу. Все это заметили, и даже кто-то посмеялся однажды: мол, наверняка Светка в партию вступить собралась.

Костёр догорал, и по всему подбрасывать в него не собирались. Над парком поднималась луна, где-то за парком надрывались лягушки.

– А что, девчата, может, посмотрим на пруд, какой он при луне, – предложил Валерий Вениаминыч.

Никто не возразил. Сергей Иваныч взял Светку под руку, и они неспешно направились в ту сторону; Валерий Вениаминыч с Ирунечкой – за ними. А вот и пруд – как в сказке: над водой лёгкий туманец; плеснула крупная рыба, и луна на воде закачалась... Полюбовались они этой красотой, полюбовались, чувствуя тепло друг друга, и не заметили, что остались одни.

– Вениаминыч! – донёсся издалека голос Сергея Иваныча. – Ау! Где вы?

Валерий Вениаминыч молчит, Ирунечка – тоже. И ещё раз отозвалось Сергею Иванычу и Светке только эхо. Да разве посмеет Ирунечка открыть свой рот, если она умирала тысячу раз, когда рядом Валерия Вениаминыча не было, и оживала, когда он появлялся! И он это понял. Также молча притянул её к себе, как хрупкую веточку, и крепко-крепко поцеловал в губы – её так крепко ещё никто не целовал.

3

Как же быстротечно время! Эта сказочная ночь на пруду промелькнула как одно мгновение, да и двухнедельная командировка их на сено стала такой же быстротечной. На другой день у Ирунечки на душе было светло и радостно: её сны сбывались, и теперь их

с полным правом можно было называть вещами. А тот вечер и ещё несколько после него были настолько чудесными, что Ирунечка готова была от счастья плакать, а может, и плакала – во сне, потому что просыпалась наутро с влажными глазами. Они уходили всё также по-тихому и скрывались за стоящим совсем не далеко зданием школы, в густых зарослях сирени, где Ирунечкино сердце билось бестревожно и радостно. Стиснутая его сильными руками, она в те счастливые часы была похожа на маленькую замерзающую птичку-пичужку, согретую добрым человеком. Так, наверно, думал и Валерий Вениаминыч, когда возьми да и скажи: мол, дрожишь вся, словно чиж на холоде. Замёрзла что ли? Она тогда в ответ ничего не сказала, а только теснее прижалась к нему; и с того памятного вечера любимым словом в разговоре с ней у него стало – чиж: как же ласково он её называл, и она это слово была готова слушать и слушать... Вот они, её вещие сны!..

Но как же быстротечно время!.. Осталась позади счастливая пора их сенокосного лета; снова уют бабулькиной квартиры, её постоянная забота об Ирунечке, в которую она вложила себя всю. А ещё отдел, её работа, куда она теперь каждое утро летела как на крыльях – с надеждой увидеть его хоть одним глазком. Валерий Вениаминыч проходил по отделу такой же: чисто выбритый, свеженький, как молодой огурчик, хотя годами он был много старше её и имел семью, ну и детей, конечно; но всё равно в груди у неё пылал огонь, и в эти минуты она забывала обо всём на свете – глаза следили за каждым его движением.

Бывали дни, когда за рабочим столом у Ирунечки всё валилось из рук, мысли в разброд, на душе смятение, – это если Валерий Вениаминыч в этот день каким-то образом отдел их обошёл. И тогда Ирунечка жила прошлым: вспоминала часы, проведённые в сирени, за школой... Боже мой, она многое бы отдала, чтобы снова с ним побыть там, ну хоть часик, хоть одну минуточку! И ещё вот: когда их привозил грузовичок к столовой, на обед, и открывали борт, обходительные парни из кузова девчат ловили на руки; и как-то так получалось, что она всегда оказывалась на руках у него... Вот где минуты её желанного счастья!.. И его тоже!..

И тогда Ирунечка вставала из-за стола и быстро уходила в туалет, чтобы остудить холодной водой пылающее лицо, – слёзы счастья, а может, обиды, а может, те и другие – были близко: как же, всё не приходит!..

Такие, видно, мы, сироты безгрешные: живём, умываемся слезами радости или плачем от обиды по ночам в подушку и думаем, что только тебе одному ведомо, что там в твоей душе творится. Так думала и Ирунечка; но как же она ошибалась! Проницательная бабулечка сразу увидела, что с сенокоса в её квартиру возвратился совсем другой человек, точнее, да, это её внучка, но совсем другая: счастливое лицо, глаза наполнены светом радости. Расцеловала её:

– Либо понравилось в колхозе? И как же ты похорошела там. Конечно, свежий воздух, и кормили, наверно, хорошо.

- Да, бабулечка, и всё свежее.
- Понравилось?
- Ещё как, бабулечка.
- Ирунь, а не влюбилась ли ты часом?

– Там не в кого, бабулечка, влюбляться, – а сама глаза в сторону и разговор на другое переводит: – А ты-то как тут без меня?

Но от бабулечки ничего не утаишь – взгляд острый, всё видит. Вот пришла внучка с работы, на кухне за столом чего-то перехватила, как бы на ходу, и опять куда-то умчалась. Ясное дело – куда: на свидание. Бабулечка, бабулечка, знать бы тебе – куда и с кем. А Ирунечка опять спешила к институту, чтобы хоть одним глазком посмотреть на Валерия Вениаминыча. Нет-нет, она не пойдёт через проходную; она сядет на лавочку в сквере и будет смотреть на светящиеся окна – она знает, что он всегда задерживается на работе, знает, где окна его кабинета, и в каком окне ещё может он мелькнуть. Сумерки её не пугают, и она будет сидеть и смотреть, как в кино: вот он встал из-за стола, подошёл к шкафу с книгами; вот стоит у окна и смотрит на улицу. И Ирунечке кажется, что он смотрит на неё... Он видит её, он её узнал!.. Она готова убежать, но Валерий Вениаминыч вдруг поворачивается к ней спиной, садится на подоконник и, как она предполагает, листает книгу....

Свет в окнах гас, но не угасали её мечты, что всё-таки наступит такой день, когда они будут вместе.

4

Как же быстротечно время! Дни отлетали за днями – то солнечные и безветренные, то с дождями, то с метелями, а за ними снова весеннее тепло, первая трава и зелень на деревьях, а это значило, что год мечтаний у Ирунечки остался позади, а ещё вещей снов её. Ах, эти вещие Ирунечкины сны!.. И бабулечка говорила, что они сбываются. Или это вовсе не сон был, а наяву: идёт по отделу Валерий Вениаминыч – аккуратный такой и как бы молодой-молодой, ну как свежий огурец на грядке, и с улыбкой объявляет: завтра всем отделом в колхоз, на заготовку сена; сбор на железнодорожном вокзале в восемь утра. Едем туда же, где были в прошлом году. Потом прошёл вдоль ряда, остановился возле Ирунечки со словами:

– Быть всем! – и, как бы напоминая об обязательности, строго постучал по её столу.

Утром всё было так же, как в прошлом году, только в колхоз со станции они ехали на грузовике. Девчат из кузова ловили мужские руки, и, надо же, Ирунечка оказалась на руках у Валерия Вениаминыча. Он подхватил её легко, как соломинку; она обхватила его руками за шею, и так не хотелось их разжимать, – казалось, целую вечность чувствовала бы ими его горячее тело!

А дальше у них было всё по прошлогоднему сценарию: заботы о ночлеге, о других бытовых удобствах. Благо управились до сумерек, когда стал накрапывать дождик. Ирунечка обустроила своё спальное место, помелькала по этажу, а потом вдруг выпала из поля зрения

всех, попросту говоря, свинтила по-тихому, как это она делала в прошлом году. Она знала, где ей надо быть: там, где они встречались в прошлом году – в зарослях сирени, за школой. Ирунечка прислонилась к стене здания школы и ждала – она была уверена, что Валерий Вениаминыч придёт; и как он может не прийти, если она ждёт его целый год. Всё нету, нету; и забрызгал дождик – капли редко-редко. Она не уходила, всё ждала. И вдруг послышались шаги: шух, шух, шух, всё ближе. Он!

– Чиж, – позвал негромко, и кашлянул.

Он!.. Господи, вот они, вещие сны её, наполненные светлой радостью, когда востребовано всё, что по каким-то причинам лежало под спудом.

Спасаясь от дождя, они направились в доме лестницу на чердак, который и стал для них прибежищем на все дни сенокосного лета. И вот он, последний день. Их отдел уезжал, на смену приезжали другие, и Валерий Вениаминыч оставался. Он проводил их до вокзала – как начальник, но все понимали, что Ирунечку – с особыми чувствами. Все вышли из автобуса, а они сидели и сидели рядышком и никак не могли расстаться. Водитель терпеливо ждал. Наконец Ирунечка вышла из автобуса, а Валерий Вениаминыч всё провожал её взглядом; потом автобус пошёл на разворот по кругу, и он махал и махал рукой из окна, словно прощался навсегда.

И снова Ирунечка в родных стенах. Светло и радостно ей и на работе, и дома, потому что Валерия Вениаминыча видит постоянно, и встречи их желанны. И это ничего, что есть у него семья, и дети есть, и что он много старше её; главное – Ирунечке с ним хорошо.

И бабулечка всё видит и понимает её. Подойдёт к ней, погладит её по чёрным завитушкам на голове, да и присоветует, и это в который раз:

– Ирунечка, солнышко моё, тебе надо замуж: года-то идут. Всё делается вовремя.

На первых порах советы оставались советами, а потом пошли думки: у Валерия Вениаминыча семья, дети, надо и ей определяться, хотя в душе надежда, как заноза: всё-таки вместе они будут. А тут и подружка подвернулась с советом:

– Ирунь, есть хороший парень, работает помощником машиниста на электровозе и тебе как раз пара будет. Давай познакомлю.

И познакомила – Юркой звали. И ему Ирунечка понравилась. Но свои встречи с Валерием Вениаминычем не отменила – что делать, если сердце горит огнём. Однажды она шла с ним под ручку через сквер, потом целовались за домом, а бабулечка стала свидетелем этой сцены и, конечно, Ирунечку не похвалила:

– Ирунечка, ты что делаешь? Ты же замуж за Юрку собралась.

И сыграли свадьбу, но свадьба для неё была не в радость.

– Бабулечка, – говорила она, надевая фату, – я же его не люблю.

– Слюбится, Ирунечка, слубится, вот увидишь.

Не слубилось.

– Фамилия-то у тебя хорошая была, знаменитая: Тютчева, – то ли в шутку, то ли всерьёз сказала ей однажды Светка. – На что променяла, а? Дударевой

стала. Да разве это фамилия? Скорее прозвище.

Даже Светке не призналась тогда Ирунечка, что мечтала она совсем о другой фамилии, и до сих пор мечтает. «Нет, с таким, как Юрка, не слюбишься, – думала она позднее. – Не мужик, а тряпка, с ним и без любви невозможно жить. А до Валерия Вениаминыча ему далеко».

Держали вместе их дети, до времени, а потом терпение её лопнуло – подала на развод. Как терпеть, если постоянно нетрезвый? Ругала, но бесполезно: как выпьет – ходит по квартире и начинает долбить: бу-бу да бу-бу, словом, что в голову взбредёт.

- Хватит пить и успокойся, – она ему.
- Выпей со мной, тогда – всё, брошу.
- Ты уже много раз обещал.
- Зуб даю...

Думала: выпью, может, и вправду бросит пить. И даже чокнулась с ним, а он ещё хуже. И тот же разговор, по новому кругу. Да так и ей недолго спиться... И решилась.

– Ты что надумала, – отругала её Светка. – Одной с детьми плохо будет.

– Ты говорила, что плохая фамилия досталась, – ответила ей Ирунечка. – С плохой фамилией можно жить хорошо; но с плохой фамилией мне достался плохой человек, так что хорошей жизни нет. Терпеть? Не хочу.

Юрка отреагировал по-своему:

– Дура, что наделала, я ведь с тобой девять лет прожил.

Да, была семья; какая-никакая, была семейная жизнь, и ради неё Ирунечка принесла в жертву свою любовь. Ночь перед последней своей встречей с Вале-

рием Вениаминычем долго не могла заснуть – всё мучалась: ну как она скажет, что больше к нему не придёт? Нет, не сможет, пусть лучше язык у неё отсохнет, а всё равно не скажет. И не сказала. Нашла другие слова: сказала, что выходит замуж. И замолчала, притихла, словно та самая птичка-пичужка. А Валерий Вениаминыч всё понял и так же, как в памятное сенокосное лето на пруду, притянул её к себе и крепко-крепко поцеловал; и так же, как в автобусе, не могли они долго расстаться...

Давно ушла из жизни её радость – бабулечка, повзрослели дети – такая же для неё радость. И все эти годы у Ирунечки разрывалась душа: Валерий Вениаминыч, Валерий Вениаминыч, где ты сейчас, и думаешь ли о ней? Не стало «Гипроприбора», а будь он – работали бы там и встречались, и радовались бы вместе. А вот сидит в рекламном бюро, отвечает на звонки... Вот и ещё один.

– Алло, да бюро...

И голос у Ирунечки дрогнул: она его узнала, это он!..

Через месяц в её квартире раздался звонок, Ирунечка открыла дверь: Валерий Вениаминыч! В руках – цветы.

– Чиж, я пришёл, – сказал он.

Это были слова, которые Ирунечка ждала всю свою жизнь.

*апрель, 2018 г.
д. Васильевка*

СОДЕРЖАНИЕ

«Мы и слёпы и глۇхи...»	4
-----------------------------------	---

ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ МОЁ ВАСИЛЬКОВОЕ

Не сиротствуй, душа	6
Гусиный перелёт	8
«Холодно. Сыро. Светает...»	9
«И прихлынули волны тепла!..»	10
Последний снег	11
«А за домами ветры стали тише...»	12
«Были сказки, были были...»	13
Будет	14
«Утро – в тумане; свежо от росы...»	15
«Свежо и росисто; и речка за домом в тумане...»	16
Прометей	18
«Не зовут под вечер перепёлки...»	20
Святыни	22
Нам снова горе от ума	24
В защиту русской речи	27
Сапоги	29
Внуку	31
«Лужок попахивает пряно...»	32
«Зелёный день завис в тепле...»	33
«За прогонами белеет кашка...»	34
«Над землёй угас последний луч...»	36
«И какие же мы чудачки...»	37
«Яркими красками лето играет...»	38
«А за лесами да за реками...»	39
«Солнце встаёт над речкой...»	40
Макушка лета	41
«Жить на свете не устаю...»	42
«Над полями летний день высок...»	43
«Ни лошади, ни бороны...»	45
«Не умереть нам от тоски...»	47
«Плуг на роздыхе в борозде...»	48
«В речке ямы да коряги...»	49
Из детства	50
«Едим пшеничный и ржаной...»	52
«Живёт земли отцовской слава...»	54
«Вот и затихло совсем в предвечерии...»	55

«Дорога недолгая наша...»	58
Без царя	60
Соловей	62
Желание	63
«В последний раз, вещая мне свободу...»	65
Ночь пришла	66
Родничок	67
«Тучи чёрные раздвигая...»	68
«Много ли счастья, мало...»	69
Плачет кукушка	70
«Перелески и светлые рощи...»	71
«В необъятные дали...»	73
Триптих	75
«Вот и сад застарел, как и я...»	77
«И засинела за домом капуста...»	78
Поклон	79
Разлад	81
Под сенью осеннего сада	82
«Ветрено во поле чистом...»	83
«В низине холодно и сыро...»	84
«Вечер выстужен, сад простужен...»	85
«Гуси греются на соломе...»	86
Встречая год Петуха	88
«За моим окном снега глубоки...»	90
«Какая чудная пора!..»	91
«Мороз покряхтывает молодое...»	93
«По белому холоду, синему холоду...»	94
«Дымок над крышей...»	96
«Не зима на отходе – злюка...»	97
Январь	98
Поэту	99
И ДОЛГОЙ БУДЕТ ЖИЗНЬ. Повесть	101
ИРУНЕЧКА. Рассказ	237



Валентин Митрофанович Васичкин

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ
Стихи, повесть, рассказ

Подписано в печать 18.04.2018 г.

Формат 70x100¹/₃₂. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Усл. п. л. 9,75. Тираж 500 экз. Заказ № 614.

Отпечатано с готового оригинал-макета в АО «Типография «Труд».
302028, Орел, ул. Ленина, 1.